

ISSN 0207- 4001

литературно-художественный журнал

# Даугава



4/97

июль - август



Маша Айнбиндер. Натюрморт "Иерусалим". 1994. М., п., а., 26,5 x 33,5.

# Даугава

Литературно – художественный и  
публицистический журнал  
Основан в июле 1977 года  
Союзом писателей Латвии  
Выходит один раз в 2 месяца

## В НОМЕРЕ :

### Поэзия и проза

- Мая Халтурина.* Мальчики служили  
в армии. Рассказ 3
- Милена Макарова.* Стихотворения. 13
- Алексей Дукальский.* Прощание  
издалека. Рассказ. 17
- Авдей Авдеев.* Малиновый погон.  
Рассказ. 28
- Ирина Карклина-Гофт.* Доходный  
дом с эркером. Рассказ. 45
- Юрий Касянич.* Тысяча вторая ночь.  
Рассказ. 53
- Елена Альшанская.* Стихотворения 69

### Воспоминания

- Тамара Широченко.* Страницы моей  
жизни 72
- Искусство
- Леля Кантор-Казовская.* Маша  
Айнбиндер, или об элитарности  
живописи 120

июль - август

4(204)/97

Публицистика	
<i>Гундега Репше</i> . Крик о помощи на равнине	132
<i>Гунтис Берелис</i> . Литература не рвотный порошок, или в поисках реальности	136
<i>Инесе Треймане</i> . Что происходит?	143
<i>Юрий Абызов</i> . Эскапизм как подоснова русского бытия	146
Обзоры и рецензии	
<i>Татьяна Шор</i> . Русские в первой эстонской республике	155
Вышли из печати	158

**Общественный  
совет:**

Л.Азарова  
Ю.Абызов  
В.Авотиныш  
Н.Гуданец  
Р.Добровенский  
В.Дозорцев  
С.Морейно  
К.Скуениекс  
С.Хаенко

Главный редактор  
Жанна Эзит

Редакция:  
Борис Равдин,  
Ирина Цыгальская

На 1-й обложке: Маша Айпбиндер. Цветущий  
мигдаль. 1994-1995. М., 65x55 см.

На 4-й обложке: Маша Айпбиндер. Зеленые сосны.  
1994. П., 47,5x34,5см.

Номер выходит при поддержке  
Посольства России в Латвии

Рукописи не возвращаются и не рецензируются  
При перепечатке ссылка на "Даугаву" обязательна

© Редакционно-издательское ООО "Даугава"  
Rīga, "Daugava", 1997



Прозу и поэзию этого номера представляют лауреаты ставшего уже традиционным конкурса, который в 1996 году в третий раз провело Посольство России в Латвии совместно с Союзом писателей Латвии.

Как и прежде, в нем приняли участие и профессиональные писатели, и начинающие литераторы - люди самых разных профессий и возрастов. Многие лауреаты известны нашим читателям по публикациям в нашем журнале.

---

---

*Мая Халтурина*

## МАЛЬЧИКИ СЛУЖИЛИ В АРМИИ

Мальчиков забрали в армию, но до самого последнего дня мы жили легко и спокойно. Уже почти никого не осталось в общегитии, а к нам в сто восьмую все еще приходили Яся и Глеб, мы жарили картошку, пили чай и играли во всякие замысловатые игры, вечно смеялись. Просто счастливые идиоты какие-то. У Пушкина, по-моему, есть такое – “явилась тень разлуки нам”. Так вот: никакая тень нам не явилась. До самого последнего дня мы веселились, как жизнерадостные кретины, как самые что ни на есть наивные дураки. Но дуракам, как известно, везет. Над ними все смеются, а потом они получают коня, пол-царства и царскую дочь впридачу.

В последний вечер мы позвали в гости Илью Анатолича, хотя И.А. и был нашим куратором, но мы все-таки позвали в гости его, Глеба, гитару и две бутылки вина. Посидели себе как ни в чем не бывало: чай, яичница, “Изабелла”, сыр... И.А., смешной такой человек, которого мы “любим и уважаем как отца родного и даже хуже” (конец цитаты), И.А. все время делился опытом, как нужно не падать духом, учиться в университете и писать письма. А мы все недоумевали: к чему это он? Глеб себе си-

дит, на гитаре тренькает, битлов мурлычет. А тут – туча, темень и дождь хлынул. Я сразу вылезла через окошко на улицу, бегу себе под дождем, бью ногами по лужам – брызги во все стороны, счастье такое! И никакой тени...

А потом опять распогодилось, небо синее, солнце садится, воздух прозрачен и город пустым-пуст. Мы идем на телеграф – Глебу надо позвонить в Таллин, – идем себе по Рагушной площади, по улице 21-го июня, дурачимся, и никакой тени.

А утром, уже самым последним утром, приехала бабушка и привезла гостинцев – пирожок и кусочек масла. Мы сходили в парикмахерскую и мальчиков подстригли. Бабушка-то нас жалует, а нам хоть кол на голове теши. Сидим себе в библиотеке, кофе пьем, Глеб с нами, И.А. опять занудствует... Потом идем себе по парку к военкомату: Ясечка, однокурсники наши – малолетки, белобилетники – мороженое едим, а в голове ветер. И вот уже – все. Перед военкоматовской калиткой девочки держали их за руки и глаза у мальчиков стали испуганные, детские, плачущие. Дед плачет, баба плачет, а мышка себе бежит и хвостиком машет. А потом лица их в окне автобуса – улыбающиеся, будто мы их в пионерлагерь провожаем.

Мальчиков забрали в армию, а девочки пошли от военкомата вниз, в центр. На шумном и дымном автовокзале девочки провожали бабушку в Ленинград, а Глеб молча дымил сигаретой, и потом они вместе шли обратно, мечтая о чае с булочками. Им казалось, что в общегитии мальчики ждут их и что счастье продлится вечно. А еще они в тот день сходили в кино на “Вестсайдскую историю”, где все время пели на иностранном языке.

И снова в сто восьмую приходили Яся, Глеб, снова жареная картошка на ужин, бесконечный чай, песни под гитару. Потом девочки написали первые письма своим мальчикам – на двадцати четырех страницах, – а потом они принялись за уборку. В сто восьмой было душно, пусто и грязно. Голые матрацы, бутылки, кеды, сломанные карандаши и библиотечные книжки. И тогда – то, среди всего этого солнечного развала, хлама, пыли, тряпок, грязной посуды – тогда подступила тоска. И тень тут как тут. Дождалась. Сухой ком в горле, а слез нет.

...И девочки как – то сразу из любовниц превратились в невест. “Дьявольская разница”. Мальчики служили в армии, а девочки сдавали сессию, ездили на летнюю практику и писали мальчикам письма, сорок штук в первый же месяц. Так что когда мальчики прибыли наконец (“через всю нашу советскую страну”, как выражается И.А.) к месту назначения и им принесли почту, – “сержант офигел”, написали они нам с гордостью.

Девочки ездили на практику, а потом они возвращались в по-

езде Рига — Таллин, а в соседнем вагоне ехала из Белоруссии дру-  
гая группа. К нам пришли Нинка и Нелька, загорелые, доволь-  
ные, с той непонятной мне радостью на лице и в голосе: мол,  
у нас было лучше всех!.. Точно так же и в начале первого кур-  
са — все приехали с картошки и хвастались, у кого было луч-  
ше. А нам нечем было похвастаться, мы вкалывали, как лошади,  
уставали, мерзли ночами, нас плохо кормили, к нам ломились  
местные мотоциклисты, у нас не было магнитофона, и мы ниче-  
го не заработали. Но мы все равно были счастливы, потому что  
мы были молоды и счастливы, и все. Мы жили в колхозе “Са-  
верна”, это была осень первого курса. Прозрачное небо. Ябло-  
ки. Золотые, оранжевые, апельсинные, рыжие деревья. И темные  
ели. Мы вставали рано — рано, и утро казалось бесконечным. А  
по вечерам мы читали Окуджаву — “Путешествие дилетантов”.  
И все мы верили, что переломим свою судьбу.

Глеб тоже ехал в соседнем вагоне. Он поздоровался со мной  
так серьезно и быстро, будто делал чрезвычайно важное дело.  
Первые его слова были: “Зря ты с нами не поехала, в Гомеле  
был Мандельштам, Вадик успел купить. Нет, не из “Библиотеки  
поэта”, а с параллельными переводами на немецкий, но там очень  
хорошая подборка...” Глеб совсем не загорел — “хронический  
румянец”. Оброс. Нос облупился. Смешной такой. Спросил “ну  
как?..”, я что-то ответила и ушла.

Мальчики служили в армии, а девочки ездили на летнюю пра-  
ктику, а потом они вернулись в Тарту. Не как домой, а просто  
— домой. Было уже поздно, но на улице светло и воздух голу-  
бой. Было так легко идти по знакомым улицам и видеть зна-  
комые дома. Наши глаза отдыхали на них. А в общезитии для  
нас лежали письма, письма, письма...

Мы были такие голодные — мы ничего не ели в поезде це-  
лые сутки, — и я сразу побежала в дежурный магазин, пока он  
не закрылся. Я думала о письмах всю дорогу до магазина и об-  
ратно. Я возвращалась обычным путем: от книжного сразу вверх,  
ступеньки, потом дорожка из разбитых плит, снова лестница, ог-  
ромные деревья, блестящая зеленая трава. Всю весну мы ходи-  
ли мимо этого маленького поля и смотрели, как трава становил-  
ась выше и выше. Мальчики ушли в армию, трава выросла,  
была уже по пояс, и в этом зеленом море — море ромашек. А  
теперь вся трава пожелтела и полегла.

Мальчики служили в армии, а девочки думали о них все это  
время на практике, все это время до писем — в деревне, в до-  
роге, в других городах. Они видели своих мальчиков на улицах  
всех городов, из — за всех углов, из — за всех поворотов — зна-  
комые головы, знакомые спины, но не они, не они, не они...

А потом девочки сидели на подоконнике и читали письма. Их было так много! За целый месяц. А в окне – все то же самое, что вы легко можете себе представить. Недавно прошел дождь, и воздух ослепительно чист. В небе остатки туч и ку-сочки голубого. Огромные деревья – их так много в этом окне! и крыши домов торчат из – за них.

Мы вернулись в Тарту вечером, а на следующий день все небо было в облаках. Их было много, облаков, но каждое отдельно, у каждого свой цвет и форма. Они плыли в разные стороны, нагромождаясь друг на друга, как льдины. Мы ходили по Тарту и отдыхали душой, слыша родную эстонскую речь. Она заменяла нам русскую, по которой мы так соскучились в латышской Риге, в украинском Львове, в закарпатском Ужгороде. Люди в Тарту казались мне такими, какими они должны быть. Я восхищалась, глядя на эстонских женщин, приближающихся к пожилому возрасту. Они все еще прекрасны – высокие, сухие, очень красивые, с их особенной, эстонской, женской, умной улыбкой.

Но самое главное, с чего нужно было начать, – утро. Потому что этот день начался с утра. Утро – самое счастливое время. Мы открыли глаза и увидели ослепительно – синее небо в окне и верхушку тополя, качающегося от сильного ветра. На дороге ложились солнечные пятна и тень от листвы. Окна выходили на запад, солнца не было видно, но мы знали, что утро будет солнечным и ясным, потому что небо было нестерпимо яркое. В Тарту было прохладно. Прозрачный воздух и нестерпимое небо. Тут легко дышалось. Во Львове и Ужгороде была духота, пыль и жара. А тут как будто еще не кочилась весна.

Все – таки нам было легче, что мы уехали из Тарту сразу после того, как мальчиков забрали в армию. Получилось так, что сначала они уехали, а потом мы, чуть позже. Это такое специальное дело, которое нужно выполнять серьезно и ответственно: все разъезжаются по своим делам. Армия – это страна, в которую можно уехать на поезде. А значит, из нее можно вернуться. Девочки ездили на фольклорную практику, а для мальчиков была особая – двухгодичная. Мальчики служили в армии, а девочки писали письма.

Летом девочки ездили к мальчикам в армию, И.А. потом обозвал их “декабристками”, но до него никому не было дела, мальчики служили в армии, а девочки учились в университете. Они приехали к первому сентября, но, конечно, не первого. В Тарту уже начиналась осень. И.А. ходил веселый, загорелый, в белой рубашечке. Я увидела его в главном здании во время перерыва между лекциями. Мы перекинулись парой слов, он тоже спро-



сил “ну как”, но мне не захотелось в суматохе отвечать ему. Я пожала плечами. Потом, И.А., потом. В спешке, среди толпы я не хочу говорить с тобой.

Приехал наконец Глеб. Он стал совсем белый — волосы выгорели на солнце. В этом году его тоже должны были забрать в армию. Он теперь курил “Беломор” — потому как “самые безвредные”. Старался курить поменьше, чтобы не потерять здоровья, “ведь хилому в армии хана”. Лиля ходила с Глебом на все спецкурсы. Они ходили, взявшись за ручки, как Дафнис и Хлоя. Лиля, ты будешь писать Глебу письма, ты приедешь к нему в армию, ведь да, ведь правда?

В Тарту уже была осень.

Какая глубокая грусть!  
Мне не до стихов.  
О если б ты только знал,  
О если б ты только мог...

Все вокруг было полно до краев этой грустью — небо, деревья, облака, улицы, темные коридоры, лестницы и подоконники нашего общежития. Глубокая, благодатная, благотворная грусть! И она ни на минуту не дает мне отвлечься, держит, не отпускает. И я уже умираю, плачу, тону в ней...

Мальчики служили в армии, а мы ходили на физкультуру утром, было холодно, ветрено и влажно. Мы ходили на физкультуру утром, еще не проснувшись, мы пробегали по Тяхтверскому парку к певческому полю, а потом к реке. Здесь так сильно чувствовался рельеф: высокий левый берег, холмы на той стороне, Ленинградское шоссе, хутор, дальний лес, поле.

Мы пробегали по тропинке, туман быстро поднимался над рекой, и вдруг раздалась резкие, громкие всплески — несколько уток взлетело с реки. Я на ходу повернула к ним голову и снова — взгляд в землю. Они запомнились мне застывшей фотографией: несколько серых птиц летят ровной линией под углом сорок пять градусов к поверхности воды. Эти вытянутые шеи, эти птичьи профили напоминали старинные пистолеты, мушкетеры или как их там...

К вечеру потеплело, небо прояснилось и воздух — как промытое стеклышко. Мы пошли на спецкурс Лотмана в физкорпус на Тяхе, а он оказался в главном здании. Мы не захотели опаздывать и вернулись в общежитие. Солнце светило, все были одеты ярко, как летом. Мы стояли перед магазином, Аленка выбирала цветы — их было море! Лиля покупала яблоки, а Глеб пил газированную воду. Я видела издали, как он пьет ее, из-

гибаясь вопросительным знаком, чтобы не обрызгаться, смешно держа стакан в длинных своих пальцах. Профиль, челка, очки, солнце, куча людей, Глеб пил газированную воду – почему-то я запомнила это навсегда. Тайком подошла к автомату (Глеба уже не было) и тоже выпила воды.

Потом мы пришли в триста девятую комнату, стало темно и снова грустно. Мы слушали болгарскую пластинку Высоцкого, а уж совсем к вечеру, когда солнце село и небо снова стало ясным, – Тарту был таким же, как в самый последний вечер, когда мы ходили провожать Глеба на телеграф. Мы с Ясей пошли звонить, и все было почти так же. Поздно вечером приехала из Таллинна Алка – загорелая, счастливая и замужняя. Приехал Кукушкин – тоже загорелый, но грустный. Я выпила за их здоровье водки, и она показалась мне сладкой, как минеральная вода.

Была осень, мальчики служили в армии, девочки учились в университете и писали письма, а Глеб помогал им “не падать духом” – или как там говорил И.А.? Глеб поднимался ко мне на третий этаж, где я учила диамат, курил свою беломорину, держа ее в тонких, длинных, хрупких своих пальцах. Он сидел напротив меня за большим деревянным столом, смотрел в окно. А я смотрела на него, на его золотые рассыпчатые волосы, на его челку, почти закрывавшую лоб, на его вечно гаснущую папиросу и тонкие, густо–переплетающиеся струйки дыма. Глеб говорил почти правду, почти понимал меня.

Мы сидели вместе на подоконнике в холле и разговаривали. Он курил. Мы вместе ходили на кафедру к Заре Григорьевне. Глеб стучался в нашу комнату и говорил: “Я к вам, мне некуда податься!” – и оставлял у нас свой плащ и свой черный “ленноновский” зонтик.

Мы вместе слушали кассету Розенбаума в триста тридцать первой комнате. Мы заходили в триста тридцать первую и смущенно просили у Маши штопор. Маша смеялась, и это продолжалось очень долго, это продолжалось все время, пока мы пили по вечерам дешевое красное вино из граненых стаканов и на темных – без единой лампочки – лестницах Глеб пел свои лихорадочные песни.

Я послал тебе красную розу в стакане,  
В граненом стакане любви...

Иногда, если в общежитии не находилось гитары, мы ходили за нею к нему на квартиру. Был сентябрь, теплые, почти летние вечера. Когда мы возвращались, Глеб горланил Beatles, “пугая

редких прохожих". Эти ночные походы за гитарой, фонари на Ратушной, темные окна главного здания, пустынные улицы – это было почти как обряд.

На углу маленькой улицы Вяйке росла перед домом огромная яблоня, и на ней было множество яблок. Эти таинственные яблоки пугали и манили своей неподвижностью, искаженным ощущением объема и неестественно белым цветом. Я поняла, почему у Мандельштама "хочешь яблока ночного". Ведь дневные яблоки – это осязаемая, круглая, нежная плоть, тонкая кожица, густой солнечный цвет. А ночью в них появляется что-то колдовское и странное.

Осенью Глеб все время писал стихи, я сидела рядом с ним на лекциях и видела, что он пишет стихи, но никогда не читала их, а он ничего не показывал мне. Эти непрочитанные стихи манили, завораживали меня своей недоступностью, как те ночные яблоки в голубом, неестественном свете фонаря на улице Вяйке.

Мальчики служили в армии, девочки учились в университете, и возвращаясь в общежитие к своим разложенным тетрадям, я находила на полях записку: "Дорогой друг! Заходите в триста девятуя разбавить диамат супом. Глеб." В письмах он всегда был немного высокопарен.

Глеб звал меня в триста девятуя, и мы там сидели и пили вино вдвоем с Лилей. Глеб чуть-чуть дурачился. Приходила Яся и наполняла комнату своим громким смехом. Мы сидели в триста девятой вечером, Яся приносила гитару, на столе горели две свечи. Глеб пел Высоцкого, и когда он запел "Солдаты группы Центр"... И он уже не поет, а кричит, не играет – бьет по струнам. Я жду спрочку про "белокурых невест", сердце замирает от боли, боль подкрадывается, и я жду, и боюсь, и плачу, и вот она наваливается, как каменная глыба.

Веселые, нехмурые  
Вернемся по домам,  
Невесты белокурые  
Наградой будут нам...

Я задыхаюсь, а потом боль отступает. Я уйду в коридор и сижу там на полу. Лиля приходит и говорит мне что-то нежным, плачущим своим голосом. Жалость к ней разрывает мне сердце. "Только бы Глеба не забрали!" – думаю я.

Осенью у нас в городе был пожар. Всю ночь выли сирены, и утром, идя на почту, я видела толпу интеллигентных эстонских

зевак, пожарные машины, шланги, реки воды и пены. Сгорела крыша, и черные стропила были видны на фоне неба. В этом доме было кафе “Старая дева”. Интересно, успеют ли его отремонтировать к тому времени, когда мальчики вернутся из армии?.. А впрочем, мы никогда и не ходили в “Деву”.

Была осень. Мальчики служили в армии, а девочки ходили на лекции и писали письма в ослепительно – рыжей вечерней аудитории физкорпуса на Тяхе.

Мальчики служили в армии, а Глеб заваливал коллоквиум по советской литературе и приходил ко мне жаловаться на жизнь. Мы слушали пластинку, где Арсений Тарковский читает свои стихи. Глеб сидел на кровати нога на ногу – эти острые колени кузнечика, эти тонкие ноги в трубочках джинс!..

Осенью в Тарту продавали мороженое на палочке – сверху желтое, а внутри белое. Все ели, а я, москвичка, избалованная, не ела.

Осенью по общежитию еще ходил, хромая на левую ногу, странный человек Коля Колумбиев, по кличке “Террорист”. “Подбили?” – спрашивала я его.

Была осень, и утром, уходя на лекции, мы видели пустую железную кровать в фойе общежития. Это было чувствительное зрелище! И еще мы видели крошечную Алису Заболоцкую, которая шла в библиотеку с огромным спальным мешком в брезентовом чехле.

Я сидела на окошке на лестнице, шла сонная Кузя и говорила мне: “Привет второкурсникам!” – и я радовалась ей.

Глеб и Яся пели Розенбаума на всех сходках, и даже я пела его по утрам в коридоре, когда шла ставить чайник.

Осенью в Таллин приезжал Еврейский театр, и Яся возвращалась оттуда восхищенная и печальная. Она разговаривала в коридоре с Юткевичем, крутила пуговицу у него на рубашке, а потом говорила: “Юдик очень жирен”.

Мальчики служили в армии, а в Тарту была осень, И.А. ходил по городу в своей вечной курточке и кепке, стриженный под бобрика, новенький какой – то, будто помолодевший, и Марья Борисовна ходила, в тубельках на низком каблукке, в зеленом пальто и фиолетовой шапочке с помпоном, похожая на большого гнома.

Была осень, один день был теплым, другой дождливым, как всегда. И были дни ясные, как прозрачно – оранжевые клены. По воскресеньям мы с Глебом ходили на главпочтамт – Глебу мальчики тоже писали письма – потом вместе возвращались в общежитие. У меня болело сердце, и на каждой ступеньке лестницы, ведущей от книжного магазина к библиотеке, я останавливалась и задыхалась.



А осень в Тарту становилась все резче, острее и нервнее. Даже когда было тепло и сухо, и нежный такой воздух! – даже тогда какая-то тяжелая тревога томила и затягивала. А потом, когда стало уже мокро, холодно и ветрено, началась смертельная тоска. И жизнь всерьез, исподлобья – “сквозь желтый ужас листьев” – уставилась на нас. И легкая романтическая грусть улетела, улетучилась. И облака стали тучами. Все еще били фонтаны перед библиотекой, и ветер размазывал по ветру обрывки холодных струй.

Была осень, и на какие-то октябрьские полуканикулы я ездила в Ригу. После тартуского нетопленного общежития там было тепло, вкусно и много. Мы ездили в Юрмалу – это было безоблачное итальянское небо, еще не облетевшие клены, дивный сосновый, березовый воздух. Белый песок и два мыса – справа и слева. Бесконечное, синее, серое, голубое, дымчатое небо – море начиналось у самых ног и безо всякого горизонта разливалось в вышину, закатываясь за сосны.

Я вернулась в Тарту. Я сидела на лекции в главном здании, а рядом со мной сидел Глеб. Я смотрела в окно. Светило солнце, снега не было, но все было как в феврале – солнце, ярко-фиолетовое небо, черные тени, черный асфальт и верхние этажи домов напротив. Рядом со мной сидел Глеб, я видела его профиль, очки, челку и ясный, как будто февральский, день за окном. Я сидела на лекции Беззубова, он говорил слишком быстро, я ничего не успевала записывать. Рядом со мной сидел Глеб, я хотела заглянуть в его тетрадь, но он писал письмо и я увидела только первую строчку: “Учитель!” Я задохнулась от нежности и зависти. Кому бы я могла написать – “учитель”?.. В перерыве мы не одеваясь бегали пить кофе, было очень холодно, но все-таки мы выбегали без курток. По четвергам, идя с английского на Тяхе, я встречала на перекрестке И.А., и он улыбался мне издалека. Он здоровался со мной, прикладывая ручонку к кепке, и спрашивал что-нибудь. А с Тяхе мы шли на кафедру к Заре, и там я снова встречала И.А. Он снова улыбался мне, но уже вблизи, потому что кафедра маленькая тесная, и там негде – издалека.

На физкультуре нас снова посылали бегать по Таллинскому шоссе до развилки на Ворбузе. И снова было утро, мокрая, бурозеленая трава, кусты на том берегу, какое-то странное болото, черные огороды, яблоки в голых садах, окраина и индустриальный пейзаж.

Осенью приезжал Шипа и в триста тридцать первой была пьянка. Все пели по очереди – Яся, Глеб, Кукушкин. Шипа был тих, краток и пел по заявкам. Это было первое настоящее за-

столе за всю мою жизнь в Тарту. Мне казалось, что каждый из нас светится своей особой радостью. Я сидела рядом с Глебом, и гриф его гитары упирался в мое колено.

И плечо онемело  
От присутствия слева...

Я ушла в разгаре ночи, боясь расплескать свою радость, свою нежность ко всем – мне хотелось сохранить ее навсегда.

Я сидела на поконнике с одинокой Галочкой Пастур, мы говорили о жизни в Тарту, о ее стремительном, затягивающем потоке. Все уже не казалось мне таким прекрасным, но душой я еще была там, в этой жизни, – и я была счастлива.

Была осень, мальчики служили в армии, а в Тарту уже облетели все яблоневые зяблые, хрустящие, прозрачные сады. И в парках одиноко горели – оранжевым, уже неестественным, потому что одиноким светом – каштаны с огромными лапчатыми листьями. И все это были уже только цитаты, только ссылки на уходящую осень. Над городом стояла серая мгла, шел дождь, но иногда из-за туч виднелись кусочки высокого неба и солнца. Все какие-то клочья, обрывки... Еще не очень холодно и еще не хмуро, еще иногда – солнце.

Уже опала листва, но чуть раньше, когда она была еще жива – стояла та янтарная осень, которая и есть Тарту. И казалось, что эта осень, этот свет, эти листья – единственно возможное состояние Тарту. Самое естественное и самое ему свойственное. Самая легкая его одежда. Самая вольная суть.

Наступила зима, и в декабре мальчиков перебросили к новому месту службы. С дороги они писали девочкам письма и бросали их в почтовые ящики во всех пунктах пересадки: Омск–Новосибирск–Ташкент–Сергели–Кабул–Кундуз–Пули-Хумри.

Названья мест, откуда были письма,  
Казались музыкой чудесной...

Девочки учились в Университете, а мальчики писали им письма. Они писали: “Долина, в которой стоят советские оккупационные войска...”

## СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

Пигментные пятна луны,  
Спокойная женственность света,  
Рождаются странные сны -  
Бастарды кипящего лета.

В излуцинах спит реголит,  
Полны подсознания лагуны.  
Приходят на свет короли  
И пишутся новые руны.

\*\*\*

Как в лепрозории заря  
Такое наступает утро,  
Его ветра не разорят,  
И страх не разорвет минуты.

Слоится время как стена,  
Столь влажен эпителий фрески.  
Переходящие тона  
И лучезарные отрезки.

За мрачноватой шелухой  
Сияют лица отраженных.  
Про их божественный покой  
Звенит бубенчик прокаженных.

\*\*\*

Ожиданье грозы переходит в желание счастья,  
Сердцевины деревьев болят в ожидании ударов,  
Птицеловы расставят большие блестящие снасти,  
Птеродактили молний - ну чем не прекрасный подарок?  
Сердце - камень, конечно же, груды больного базальта,

В этом каменном веке уже ничего не случится,  
Если только шаманка с глазами прозрачнее смальты  
Не оденется в перья свирепой от древности птицы...

\*\*\*

Демонический ветер разносит живое в клочки,  
В колыбели качнется кусок бесприютного света.  
Нет, Любовь не слепа, у нее - золотые зрачки,  
Этим зреньем она спасена и навеки согрета.

Инкунабула чувств, поклоненья пятнадцатый век,  
Что висит на цепях?.. Да все та же бесценная книга,  
Инкунабула чувств, от которых немислим побег,  
Как от крови, готовой сгуститься до цвета индиго...

\*\*\*

Не платоническая платина,  
А лихорадочное золото,  
Что с приисков судьбы украдено  
Безумцем, умиравшим с голоду,  
Светилось в полуночных формах,  
Таилось в линиях горячих,  
Клондайка суточная норма,  
Добытая совсем иначе...  
Наперекор судьбе аскета,  
Реинкарнации законам,  
Сияли слитки и монеты  
В соединеньи исступленном.  
Горела радостью чеканка,  
И на аверсе - имя страсти  
Звенело маленькою ранкой,  
В крови которой было счастье...  
Что брэнность или обреченность,  
Что обреченность или брэнность,  
Когда сумела утонченность  
Переродиться в неразменность.



\*\*\*

Так алмазы живут в кимберлитовой мгле,  
Или корни деревьев в зернистой земле,  
Так и радуга спит, обращенная в снег,  
По которому тихо идет человек.

Так и скалы ночуют в объятьях ветров,  
А волхвы оставляют один из даров  
Все тому же, кто вышел встречать снегопад  
В кимберлитовой мгле, поглотившей закат.

Так и птицы навек улетают с земли,  
Так рисует уход несравненный Дали.  
Но деревья все пьют из подземных глубин,  
И ушедший в закат остается один.

\*\*\*

*“Каннибалы собственных сердец...”*

*Платон*

Эти тонкости... Тон кости  
Вряд ли трогает каннибала.  
Окровавленный акростих  
Откровение даровало.

Тон-кос-ти. Словно бы трибаллы\*  
Лик грядущего расписали...  
Откровение каннибала -  
Колесо ли, полоса ли.

Каннибал - существо ручное.  
Полинезия в плазме каждой  
Тихо вспыхнет смолой ночью  
Раня сердце в неясной жажде...

---

\* Татуировочные линии

\*\*\*

На "Титанике" бьется фарфор, а сеанс спиритизма  
Завершится, поверьте, довольно нескоро...  
Преломляется свет в океанской безжалостной призме,  
И встречаются души как волны под пенье собора.

На "Титанике" - ночь. Для еще сохранивших святое,  
Может, будет любовь на большой бирюзовой постели,  
Перед тем, как исчезнуть за темной тяжелой плитой,  
Среди рдеющих звезд и живых до безумья растений.

Разбивается зеркало в самой роскошной каюте,  
Отраженья плывут, чтоб расстаться и встретиться снова...  
На "Титанике" - ночь, и касаются вечности люди,  
Между страхом и жемчугом, к тихим глубинам иного.

\*\*\*

Цветет подсолнух и рука горит,  
Свеча Ван-Гога - классика безумья,  
Мятежный воск космических обид,  
Морская соль в безмерно ярком трюме.

Ушные раковины, жемчуга, ножи,  
И кровь и плоть затронутой стихии.  
Имеющий уста да задрожит,  
Представив хоть на миг рубцы сухие.

И в трепете имеющий глаза  
От глубины подобных сочетаний:  
Где раны, там целительный бальзам,  
Где рамы, там бессмертное метанье.

Где свет, там полновеснее глотки  
Подводного темнеющего бреда.  
Где торжество холста - ожог руки,  
Нарушившей условия обета.

## ПРОЩАНИЕ ИЗДАЛЕКА

*“...Земля — не только наша мать: в каком-то глубочайшем смысле, которого еще нельзя изъяснить, она и наша возлюбленная”.*

*Д. Андреев. “Роза мира”, кн. XII  
“Возможности”, гл. 3 “Кульн”*

Аборигены Австралии (центральноавстралийское племя Аранда и др.) считают, что магическая эманация “времени сновидений”, когда “вечные люди” (мифические предки) странствовали по земле и оставляли на скалах рисунки, доходит до живых через ритуалы и сны...

Но наши сны слишком суетны, а ритуалы забыты, — ни в нас, ни в сделанном нами не оживают вечные люди, их непрорастающие споры как пепел в сердце, приводящий к ишемии и другим напастям, как насекомое в ухе... и каждый сходит с ума по-своему, — тем похож на бабочку, которая еще бьется о стекло, может быть, в десяти сантиметрах от свободы... Боже мой, как она бьется о стекло головой, глазами... или кто-то лбом о стену. Не верьте окружающим: человек не хуже бабочки, не сходит он с ума, но чувствует, что не в уме, и хочет войти, вернуться в него, как бабочка — на свободу.

Да и меня разве что-то не томит? И не из этого ли томления купил я вдруг местечковый журнал? Он открывался посмертной подборкой стихотворений, и я, конечно, подумал — вот, как всегда: вовремя напечатать все то же мешает, что и плохому танцору, — ну, да и на том спасибо, а то бы и вообще не знал, что давешнего моего знакомого нет уже. Я начал судорожно вспоминать, обнаружив, что с трудом узнаю его на фотографии.

Кому бы я потом ни показывал журнал, говорили то же: “Я знал его”, — и делалось печально в молчании: мир тесен и затхл. Потом спрашивали: “И от чего?” Конечно, от сердца. “И сколько же ему было?” Я отвечал уже буднично. Прошло то состояние, когда я повис в пустоте, вычисляя его последний земной возраст, хотя уже ясно было заранее: рано.

Да, пятьдесят четыре. И будто молния прошла по извилинам моих мозгов, связала эту, как бы несуществующую для меня по причине удаленности по времени и месту, кончину с другой, которая произошла на моих глазах. Но разве можно исследовать путь молнии? А что может вызвать чужая смерть, каждый знает по-своему.

Я недоверчиво слушал других и думал: так что, знал ли я его? А меня кто знал?

Он появлялся внезапно (у меня тогда не было телефона) и редко, несравненно реже, чем виделись где-нибудь в “птичнике” (открытое кафе в центре города), и еще реже – у него дома. В сумраке лестничной клетки (лампочки и тогда вкручивали реже, чем выкручивали и били) сверкали его глаза, приглашая в пустоту, – обязательно было ненастье, чаще весенне-осеннее, и время было не детское. Он никогда не был застегнут наглухо (в ненастье-то!), так что всегда видна была сорочка, вдруг сменившая уютность рубахи или свитера на свою белизну, да холодную строгость галстука, – так стараются одевать женихов и покойников, которые ведь тоже – женихи: земли, и белая постелька с рюшками – ее символическое платье, и воздух да покрывала – ее фата, таинственное покрывало Матери – сырой земли, чье имя дошло до нас в сказках с добиблейских времен (почему, собственно, сырой, если Бог отделил сушу от воды и назвал ее землей?). Именно в память о том, что земля и вода под куполом-небом – это Одно, Мать, ведь на это намекает и об этом свидетельствует Сам Бог, обращаясь к ней то в виде земли, то в виде воды:

“И сказал Бог: пусть произрастит земля растения... И было так. И произрастила Земля растения...” (Быт. I, 11,12, масоретский текст). “И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую”. (Быт. I, 20, синодальный текст).

Так что, Земля-Вода творит наравне с Богом? Нет.

“И сотворил Бог... всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода...” (Быт. I, 21). Бог сотворил душу, а Земля-Вода произвела и произрастила животных – родила, как и положено Матери.

Теперь считается, что человечеству неизвестны ни лик, ни облик Матери (Сырой земли), как, впрочем, и самого Бога, который, если и говорил с человеком, то через посредников, либо скрывая свое лицо. Интересно, что могли бы добавить к этому вечные люди?

А что мог добавить к этому мой ночной гость?..

Этакий, казалось мне, черный бутон с проклюнувшимся белым цветком. Не собираясь входить, он бросал строчку-другую, если я медлил, и я чувствовал, что ему ничего не стоит шагнуть в пустоту с высоты какого-нибудь дома, этажа или моста – не с целью самоубийства, а просто потому, что стихи его о той женщине, лица которой никто (никогда?) не видел... Я одевался и шел следом, перебарывая услышанное, ловя строчки и строфы, которые иногда доносились из него.

Я не был ни феном, ни фаном, – как там называется эта заводная машинка для производства внешнего вида, – наутро я не помнил ни единого слова из нашего диалога: не знаю, что я там мычал или про-



говаривал в ответ накануне, однако он выбирал меня. Почему?..

Мы выходили из дома, но не ощущали холода на безлюдьи сумрачных улиц, никакого дискомфорта. Мы видели на уютных местах пассажиров городского транспорта, – в ином свете едут люди того света, и нам не хотелось быть с ними.

Покачивались лампы фонарей, подвешенные посреди улицы, и круги света от них, а когда ветер был сильнее, еще и позванивали жестяные абажуры над ними, а свет казался еще более неверным, – верным был свет пространства, в котором дышали, подрагивая в облачных прорехах, звезды.

Да и ехать – зачем? Где это место, где этот дом... – ехать нам было некуда: правда, скорее всего, таилась в словах Павла, вспоминающего Исайю (Деян. 17,24). “Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господином неба и земли, не в рукотворных храмах живет (17,25) и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дал всему жизнь и дыхание и все... (17,27) он и недалеко от каждого из нас (17,28): ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: Мы Его и род”.

“Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих, где же постройте вы дом для Меня, и где место покоя Моего?” (Ис. 66,1)

Так что пусть люди того света ищут, едут в любой из построенных фантазерами разных конфессий дом, если им это поможет. А нам строить нечего: дом построен, и мы в нем. Нам ехать некуда.

Завтра мы присоединимся к ним, людям того света, чтобы продолжить каждому свое шебуршение, и общим будет разве что какой-то знакомый, даже не друг, тоже имеющий свою, как записал Чехов на отдельных листах, сорочью жизнь (старик не верил в Бога, потому что почти никогда не думал о нем; сорочья, животная жизнь). А пока...

Мы получали удовольствие (или наслаждение? В общем, ни то, ни другое – не точно...) Где-то в отрочестве я вычитал у Горького, что высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам, – судорога полового акта. Горький пишет, что так говорил Леонид Андреев, но поди знай: то ли он наделил его своим опытом, не помня, что на самом деле говорил, то ли действительно Андреев так говорил и Горькому это понравилось, а потому и запомнилось, то ли Андреев, не объявив при этом, вспомнил Пушкина, который записал как-то: “Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не заметили б”. Знал ли Пушкин наслаждение, которое не кончается содроганием? А Горький, у которого слово могло вызвать стигматы, – неужели не было у него Собоюдника? Потом мне стало непонятно, почему именно мастер слова

оставил акт на вершине. Неужели за правдой надо идти не меньше как к Платону? Или у того тоже не было Собеседника?

А что, возможно... кто может похвастать изобилием оных (собеседников, которые способствуют возникновению сладостного напряжения, – очень похожего на сладострастное, когда все тело, как натянутая паутинка. Но тут не совсем то, не тело: ведь мы свободно двигались, шли, бродили...). Казалось необыкновенно чисто в голове, и от этого дополнительная ясность, и четкость в ожидаемых словах, в их восприятии. И никаких внешних судорог. Мы не хлопали в ладоши на вытянутых руках, не визжали и не ревели, как толпы рок-поклонников, мы не раскалывались, а собирались. И мы цвели (может быть, как известные джазмены, которые, вот, уселись играть и извлекали первые удачные звуки...).

Нашими звуками были слова. Обычные, как наши руки...

Но стоит немного изменить обстановку, увидеть небрежно откинутую (или отдохавшую, да мало ли еще!), но вожделенную руку, и в страстном ожидании, и в неизвестности, миллиметр за миллиметром подкрадываться к ней... Ощущение контакта произойдет за миллиметр-два до настоящего прикосновения, и руки встрепенутся как от электрического разряда, который пройдет, кажется, по всей вашей дрожащей от напряжения "паутинке".

Так и слова, иногда целая строчка, попадая в поле сознания, буд-то натываются там на спящее (небрежно откинутое) слово и пробуждают его, и возбужденный разряд высвечивает на миг всю "паутинку" и гаснет в поле сознания, оставляя после себя теплоту воспоминания; благодарения?

(Каково после этого читать, что вначале слово было у Бога, и слово было Бог? Или советы Кузанского о том, где и как искать Бога... В поле сознания?)

Куда нам еще было ехать, и разве мы не на той земле и не под тем небом...

Но мы не были йогами, которые способны задницей растапливать льды, и нам не оставалось ничего другого, как изредка, умолкнув или слегка переменяв тему, наведаться в еще открытую точку общепита. Конечно, не для того, чтобы попользоваться ложками и вилками со свернувшейся на них в капли водой.

Конечно, стихи были и тут, но уже – обычные, земные, хоть и не без своих находок, но, услышав их, люди уж определенно не будут оборачиваться.

Я тупо поглядывал на людей, которые почему-то стеснялись говорить в полный голос, будто боялись разбудить кого-то, на мреющих раздатчицу и кассиршу, я смотрел на них так же, как некогда – на руки, которые не вызывали больше ни электрических, ни других каких разрядов даже при крепком пожатии. Я что-то говорил и слу-

шал слова, которые оставляли меня бездыханным: никакая паутина во мне, если таковая и была, не шевелилась... казалось, все это так – навсегда. Слово, а вернее, та энергия, которую оно освобождало, видеть, действительно, было у Бога; у нас же – бледное подобие, жалкий образ, пахнущий кухней, иногда дезинфекцией, а мы так же бледно-жалко живем Им, движемся, существуем – немощные и темные, как закрывающаяся точка общепита, но жадные и гордые в немощи своей и темноте, – когда беречь больше нечего, бережем гордость и жадность и говорим, что честь?

Пора уходить: еще пять минут, и захочется вылететь в окно.

И мы, едва отогревшись, торопились уйти.

Назавтра то был – кого ни спроси – обыкновенный Дон-Жуан, во внешности и манерах которого было что-то, как мне казалось, от француза (живого и всамделишного я, конечно, и близко не видел). Самому мне редко случалось увидеть его на следующий день, разве что если забредал в птичник, но и тогда ничто не напоминало о вчерашнем, если и перекидывались словечком, то в тоне и ритме всеобщей сутолоки, от которой все не было разрешения. Да и в окружении вечно чуждых людей...

В небе висело, все распухая, чучело Брежнева, и было душно, как перед грозой, но не было ни дождя, ни публикаций (я нигде не читал слышанного в те редкие ночи), и даже приличные с виду люди вели себя странно. Когда-то еще прозвучит в обществе тайный сигнал: перекрашиваться можно. А пока – не придумали даже собираться на научно(!)-практические(!) конференции по творениям (якобы) генсека, – эх, так и не узнал, какой же такой наукой и какой практикой там занимались, а вернее – с какими глазами были там некоторые знакомые. Те холерные грибки, что надували чучело отработанным после поглощения дефецитов газом и выпускали пар на конференциях, не пропадут и в войну еще поиграют... А кто-то уже хочет переливчиво звучать и детей не отдавать, но еще не скоро прозвучит в обществе тайный сигнал: Исаак, положи сына на место.

Несколько раз в середине толкучего дня мой ночной гость приводил меня к себе домой, – тогда в кровати учился стоять его головастый потомок и, держась за прутья боковой стенки, произрастал, пока мама была на работе, задумчиво смотрел на папу или на его палец, а я удивлялся порядку и чистоте, считал ползунки на веревке над стиральной машиной, всегда готовой к действию. До памперсов был еще не один десяток лет. Довольный папа популярно объяснял, что все просто: порядок рациональнее беспорядка, и на поддержание одного уходит меньше времени и сил.

Стихов почти не читал, а если и вырывались вдруг, то нечто дневное, приятное и на слух, и по мысли, но священный трепет жил в мироздании где-то сам по себе и не нагонял, когда стихи уже отзву-

чали; была в них и мудрость, которая не знает, что такое – “крыша поехала”, и любовь в них торчала, как знакомая рожа в сутолоке... конечно, я теперь преувеличиваю, утрирую, но сказать, что они были тренировкой, разминкой, как бег на месте перед настоящим бегом? А если все наоборот? Что было сном, из которого продираешься в явь?

Я блуждал по квартире, только что не шараялся от непривычно и непонятно расставленной мебели. Чужой уклад, как чужой монастырь, казалось, имел свои тайны, и сколько чего ни выпытывай, они не откроются тому, кто живет иначе, и богаче не станешь...

Пожалуй, после этого мы и перестали видаться (по крайней мере, днем): работа не позволяла мне болтаться по кафеюшкам в центре. А потом я бросил ее и не мог найти ничего подходящего, так что кофе стал мне недоступен, и я редко покидал пределы своего микрорайона, – собираешь бычков на остановках и возвращаешься домой. Это не отключало меня от города полностью, потому что иногда кто-нибудь заходил и рассказывал не только о себе.

Может быть поэтому стали реже, а потом и вовсе прекратились ночные визиты, ведь дневные мимолетности были той единственной ниточкой, которая никогда и не связывала, но напоминала друг о друге, – больше не было ничего. А идти к человеку, которого давно не видел, нестись по ночному городу куда-то наобум – есть ли там кто, не изменилось ли что...

И было все, кроме ночных встреч, по-старому: необыкновенно большой счет у Дон Жуана, и никаких скандалов, – “так что же это, странно: он весь город перепортит, и все будут довольны? Тут не знаешь как одну жену ублажить, чирк-чирк, как зайчик, и – в сторону бежать, а он, говорят, может тянуть сколько хочешь, и жена – ничего, как будто так и надо, да другая бы... а эта слова не скажет... мистика какая-то! У него, небось, что ни новая девчонка, так и новый стих. Живут же люди...”

Я ничего не отвечал собеседникам (испачкать можно кого угодно и достаточно быстро). Да они, занятые изливанием собственной зависти, да вкупе с чувством своей не совсем полноценности и не замечали этого, и что там особенно отвечать, если реальный человек сам по себе – где-то, а ты тут: мне не хотелось портить его отражения (то ли в собственном представлении, то ли в собственном сердце), – каково будет жить, если там – ничего, кроме грязи и монстров? Может быть потому, что бы ни слушал о нем, я знал свое... собака лает, а злые языки, как ветер, везде одинаковы, и наш город не страдал отсутствием оных, но и то уже странно, что я редко слышал их, и думай тут что хочешь, тем более, что скандалов с ним действительно не было.

Может, дело в том, что злые языки свою странную любовь любят падких... Но какой же падкий обходит стороной доступных? И

в то же время ищет, кому подставиться. Но никому не суждено лишить его самообладания, – бесплодны поиски? И он пишет стихи, начало которых часто похоже на заклинание. И тут он не Фет, всегда обращавшийся к одной и той же женщине, не современник, вечно обращающийся к одной и той же (бледному вымыслу). Почти каждый раз он обращается к новой, вырывает ее из привычного света и, как гид, как сталкер, влечет в иные сферы, – там не обязательно пляшут пятна света от тусклых фонарей, подвешенных посередине улицы и позванивающих жестяными абажурами, там не обязательно проплывают трамваи, наполненные иным светом, но это всегда тот город, земля которого – подножие ног Всевышнего, а небо над ним – престол его, и свет – пространства под звездами, и свет, заключенный в мириады тел, которые Им живут, движутся и существуют...

Но ни одна представительница привычного света не могла жить в этом городе: одни умирали, не дойдя до первой площади, другие, едва оказавшись там, начинали дрожать и просить: “Возьми меня! Ну, когда же ты возьмешь меня?!” а третьи с величайшим презрением на челе бежали обратно – к скромно-привычным и всегда новым утехам, – разве могут они лишить его самообладания? А какой чудной священный получился бы из них! (Не потому ли большинство прихожан получается из них?)

И он задумывался, как человек, потерявший вдруг ногу или руку, он пребывал в этом состоянии, за думами, беспомощно озирался вокруг, но ничего не было слышно, и он собирался домой, так и не задав вопроса, который годами кувырчался в нем, иногда оказываясь эксцентриком: если человек, сотворенный самцом и самкой, создан по образу Бога, то как же устроен Он, и кто – Она? И как должно служить Ей? Она тоже не имеет лица и является в каком-то огне?..

Так оказывалось, что представительницы привычного света не приводили к Ее престолу, а просто оказывались чем-то вроде семи ворот в один город, да и то еще хорошо.

Впрочем, я забрался слишком уж далеко: стихи кончались разлукой, – ведь сколько людей, столько и разлук, и все неповторимы. Не надо думать, что я тремя вариантами описал все, я выделил их, скорее, исходя из собственной практики, а в стихах все тоньше и не так резко и, кажется, разнообразней.

Но что правда, то правда: все они были, что семь ворот в один город, где жила Она.

Она являлась неясным томлением в отроческие, а может быть и более ранние сны. Вернее, вызывала томление по каким-то женским движениям, ласкам, по девичьим фигурам в конце концов, но никогда не было видно ее лица (так мало кто помнит о ней поэтому?). Иногда жутковатая в жесткости своей красоты (руки ласкают и об-

нимают, и третья, и четвертая, и пятая, а шестая вонзает клинок... она пленила.

Но что там пластика тела и ритм движений, что ворожба линий и объемов, если нет лица – нет и самой, – кто помнит? Ее внушения живут, а сама – мерещится в каждом из своих созданий? Кто посмотрит в микроскоп, узнает ли в чудище муху, а что померещится ему при взгляде на каплю воды? Не зная, что видишь, мудрено что-то узнать.

Семь ворот в один город или семьдесят раз семь – какая разница, ведь город один и земля... Дон Хуан, индеец из племени яки, ласкал и гладил землю – какие ворота? И Римский папа (Иоанн-Павел VI), едва выбравшись из самолета и спустившись по трапу, валит с ног, чтобы поцеловать землю (так это все понимают), но целует-то половик-дорожку... (тоже – “ворота”!).

Но царскими воротами была жена, и она знала об этом. (А знание – это спокойствие, которое кого-то и бесит.) Вероятно, знала она и то, что лишившись очередной партнерши (закончив стихотворение), он устремится за новой, потому что без спутницы – как без надежды – он быстро сникал, но ведь с новой и новой подругой – сизифов напрасный и невольный труд, так ли уж он сладок, и могла ли жена не жалеть его? И папу римского, может быть, тоже.

Кстати, удивительные наши предки сколько уже тысяч лет как установили то, чего современные люди все в толк не возьмут (протестанты, говорят, и поныне упражняются не соблюдать этого завета) – не ставь священников из женщин.

Но не моги (и Она в детских снах велела) не любить женщину: иначе кто понесет ее грехи перед Богом? (Это не сумочку таскать.) Едва ли не в отрочестве это внушение начинает свое путешествие к нам – кораблик в отнюдь не спокойном море, – так что иногда только щепы достигают адресата; не мудрено, что мало кто помнит Ее. Но время учительницы, которая скрывает свое лицо, проходит быстро, Она отступает, чтобы не мешать – уже скоро предстоит нам придумать во сне и выбрать наяву ее протееже...

Мы спим во чреве, кое-чему, однако, уже научаясь, пока тело не повторит и не пройдет все дочеловеческие стадии развития, и вот человеческий организм рождается, но мы еще не обучены, мы много и крепко спим, и даже просыпаясь, чтобы учиться теперь еще и наяву, мы не отличаемся от обезьянок (но уже не рыбки!), и только теперь Она проходит вестником: вот, человек родился, – но никто из окружающих не видит Ее, а рождение человека было отпраздновано авансом – с рождением организма, и кончаются сны, мало связанные с нашей личной явью и опытом (которых почти нет еще!). И вот – мы видим самую, может быть, знакомую женщину, – наступает время учительницы секса, и мы уже знаем ее в лицо: она является из

яви нашей собственной жизни и объясняет, что делать с тем, что уже выросло...

Как дерево из земли, мы вырастаем из снов. Что тут еще сказать? Что у нас есть личная гигиена – масса сомнительных щеток и карисес, – когда-нибудь останется что-то одно, но нет ни гигиены, ни культуры сновидений, и мудрено что-то узнать, потому и видим черт те знает что и черт знает когда, и наяву такие же, как и во сне. И это – надолго. Как и потревоженные отроческие сны. (Войны, говорят, нет, а гробы-то плывут и плывут, беженцы бегут и бегут, – она ближе, ой, ближе, чем говорят и чем хочется!) Так что не раз и не два невольно возведешь глаза к небу.

А там (на небе), глядь – нет больше чучела. И летать, вроде бы, охота... Но на самом деле небо не пусто, оно засеяно всякой живностью, иссохшей и отоцвавшей от зависти и жадности до того, что ее почти не видно, пока не разбухнет, насосавшись и приняв какой-нибудь имидж. Ну, а дождя (из стихов) нет по-прежнему (издательство нюхало воздух, пока не разогнали как ненужное, потому что чуждозычное для коренной нации).

Я уже нашел, наконец, опять какую-то дурацкую работу, правда, зато мог позволить себе не только кофе. Но теперь я считал, что пить его можно только в двух точках в городе, но там едва ли когда встретишь знакомых: люди привычно пили жижу по старым адресам, но и все это ничего не меняло, – мой поэт, в конце концов, уехал туда, где кофе (натуральный) можно пить в любой точке города; пятнадцать лет мать умоляла его сделать это, слала богатые посылки и обещала положить к его ногам... собственный литературный журнал. И что не ехал? Там его даже в союз писателей приняли – “по факту наличия рукописей”, причем, сразу, – странная формулировка для здешнего уха, даже теперь...

И вот (уже!) – последняя подборка, а книжки не будет никогда (здесь). А там вдова теперь издала (он хотел сначала здесь...). Может, и еще издаст.

А вот о последних минутах его я не знаю и спросить не у кого, а и было бы... многие ли понимают, что они видят? Ведь “от сердца”, значит, скорее всего, внезапно и быстро, так что и в том таинственном далеке едва ли есть свидетели... Я вспоминаю свои слова о том, что чужой уклад жизни, как монастырь, имеет свои какие-то тайны, только теперь это – конец жизни, но также – сколько чего не выпрашивай, тайны не откроются тому, кто живет иначе, и богаче не станешь... Я спросил одного (правда, тут), пока в меру маститого, на счету которого несколько лет в газете, в литературной страничке, так он ответил одним словом: “Лентяй он был”. Потому, видите ли, и слабо было хоть строчку напечатать? Куча мусора не лучше: рано или поздно сгниет, а лентяй останется, придет издалека и останет-

ся, уже идет. Но это уже другая история, а конец этой... случился довольно давно.

Накануне Иванова дня я оказался в гостях у знакомого, который жил в тихом райцентре напротив больницы и дружил с Николаем, главным хирургом и главным врачом, который образовался в военно-медицинской академии, мотался по свету, пока после Афгана не решил, что хватит, да и здоровье не то: пришлось даже курить бросить и на рюмочку не смотреть, а поскольку голова еще, то сумел-таки комиссоваться до положенного и прибыть в отчий дом, где живых уже не было, но воздух оказался еще чистым и целебным настолько, что можно было опять дышать без стеснения в груди и курить, приглубить рюмочку-другую чистенького и не знать сердечных перебоев.

Поступило предложение: в праздничную ночь забуриться в лес и сидеть, пока голод и жажда не выгонят оттуда, благо и все выходные и отгулы в достаточном количестве, однако Николай уперся: "Я главный хирург и должен быть в пределах досягаемости". Вот и расположились под роскошным кустом сирени, где участок Николая плавно переходил в больничную территорию: благо дрова недалеко, развели костерочек пораньше, чтоб шашлычок поспел...

В это самое время тракторный прицеп, специализированный для перевозки сена, несся, чиркая брюхом по кочкам полузаброшенной дороги и был битком набит местной молодежью. На перекрестке в него врзался шедший тоже на хорошей скорости самосвал.

Николая позвали довольно скоро. Когда шашлыки стали остывать, мы отправились на его поиски. Увидев, что приемное отделение распухло на весь барак, мы поняли, что благодарные бывшие пациенты, от которых спасения не было нигде, не виноваты.

Несколько сестричек и санитарок было занято около самых, по видимому, тяжелых пострадавших, кого-то уже накрыли простыней; Николай осматривал по возможности подготовленных и раздетых людей, иногда что-то спрашивал, писал на листочке, что надо сделать, переходил к следующему, и все равно продвигался медленнее, чем хотелось бы.

Впереди ждала его сестричка; обеими руками она поддерживала парня-одногодка, очевидно, в том единственном положении, в котором он мог лежать без особенных стонов. "Это ее парень", – толкнул меня в бок приятель. Бедняга едва ли соображал, где находится и что сейчас к нему подойдет врач. Однако его почти стеклянные для окружающих глаза еще были живы, еще видели что-то (кого-то), но не реагировали на окружающее, на сестричку, то и дело заглядывавшую в них, даже было какое-то полудвижение прогнать то, что перед глазами.

Николай постоял, потом приподнял простыню, а мы поспешили



отвести глаза, молча, не глядя на сестричку, – там в завидном напряжении чуть подрагивал в такт ударам пульса, готовый... Николай аккуратно опустил простыню, и тут уж не уйти было от жгуче-вопросительного взгляда сестрички, которая стояла напротив и видела, как мы отвели глаза. Может быть она поверила и поняла бы все, скажи Николай хоть слово, но он промолчал и только у самой двери вдруг негромко, обращаясь к нам, сказал: “Он увидел Ее лицо. Это конец. Эти зрачки...”

Закрывая за собою двери, я услышал тихий всхлип и подумал, что обиделась сестричка, но, увидев, что она обе руки прижимает к лицу, понял: все кончено.

Помню, кто-то передал потом ее слова: “Он вдруг как-то обмяк весь, будто струнку какую из него выдернули...”

Я хотел расспросить Николая, чье же лицо увидел парень, и откуда Николай это знает, но впереди была еще целая комната раненых, а потом забылось как-то. Случай осел куда-то на дно памяти и не давал знать о себе до тех пор, пока не попала в руки посмертная подборка стихов в местечковом журнале. Разве не может быть, что поэт и тот парень в последнюю свою минуту увидели Ее – одну и ту же? И ушли, наряженные женихами...

“...И обладайте ею, и владычествуйте... над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле” (Быт. I, 28, синодальный текст).

Что это – продолжение последнего отроческого сна, продолжение обучения и явление того лица, которое не было показано? Или ошибка переписчика, переводчика?

“...И овладейте ею...” (Быт. I, 28, масоретский текст).

Кто-то говорил мне, что Николая, не помню уж почему, нет уже на этом свете, так что и спросить, что он имел в виду, не у кого.

Я смотрю в окно, и на ум приходят слова:

К тебе – сквозь все туманы –  
Через пространство грез, бессилье слез,  
Приду-приду! Я все прошу тебе – свои – изъяны...  
Как весной – опять безумный – дрозд!

Интересно, что буду видеть я и буду ли...

---

*Авдей Авдеев*

## МАЛИНОВЫЙ ПОГОН

Из цикла “По русскому Северу”

В областном водорослевом комбинате меня немало смутили, неожиданно предложив должность бригадира на одном из островов Белого моря. Обескураженный этим доверием, я с трудом отговорился и попросил зачислить меня в бригаду на прежнее местожительство.

Прошел уже месяц с тех пор, как я стал ловцом прибрежного лова и поселился вдали от монастыря в дощатом маленьком домике у моря с железной кроватью и печкой, на которой варил себе вечерами супы из пакетов, страдая при этом от сильной жары в комнате, и без того разогретой солнцем. Семейные рабочие водорослевого производственного участка, приезжающие сюда каждое лето, не мучились отсутствием электричества и не страдали от подобных неудобств. Давно уже сложили они возле домиков маленькие кирпичные печи, и матери семейств пекли на них на свежем воздухе блины своим детям, покрытым коростой от комариных укусов.

На подоконниках в дощатых семейных домах барачного типа стояли железные банки с посаженными в них женской рукой огурцами, и крошечные пожухлые листики огурчиков за стеклами выдавали чужую томительную тоску – чью-то несбывшуюся мечту о земле. Вскопать грядку на усеянном камнями побережье было невозможно, зато какая-то семья держала здесь двух свиней, цепями прикованных к лодкам. Цепи эти звенели, и лодки покачивались, когда свиньи прогуливались вокруг тоскливыми белыми долгими ночами, макая в море бока, измученные мошкаррой.

Весь месяц я никуда не отлучался и проводил дни, переваливаясь через борт баркаса, вытаскивая из морских глубин анфельцию и ла-

минарию железными граблями, не очень веря в то, что это я каждое утро выхожу в море в ярком оранжевом бушлате, а вечерами ворошу на берегу, как сено, разбросанные сохнуть водоросли, с трудом связывая все это с пирожными-суфле, на коробках от которых среди других ингредиентов значилось и добываемое из водорослей вещество агар-агар.

На новом месте мне нравились в первое время отливы, открывающие взору черные скользкие валуны, крики дерущихся между собою чаек, зябкие низкие утренние туманы, быстрые, белые и густые, скрывающие баркасы и ловцов водорослей, на глазах редющие и рассеивающиеся без следа, после чего ловцы водорослей заводили моторы на своих баркасах, и я, отходя от берега вместе с ними, уговаривал себя не скучать, стоять здесь до осени, зная хорошо, что никогда мне уже не быть ловцом прибрежного лова на северной окраине России и не разглядывать так подробно ни туманов, ни отливов, ни чаек.

Просолившись в море и подвялившись у жаркой печки, я собрался в поселок в баню и отпросился на день у бригадира. Достав из рюкзака выходную одежду, в которой приехал, я переоделся и обнаружил в кармане старый малиновый погон времен гражданской войны без знаков различия. Зная о моей слабости к военной истории, его подарил мне, ничего не объяснив, — ни откуда он у него, ни почему, — незадолго до моего отъезда на водорослевый участок Каптри, комендант сгоревшего монашеского скита, вернувшийся на остров после полугодового отсутствия, оправдывая его затянувшимся и странным путешествием по озеру Исык-Куль.

Стоял август. Белые ночи наконец потемнели. Попутчиков мне не нашлось. Рано утром я сел на велосипед, думая в одиночестве весело прокатиться двадцать километров, но ошибся: вначале велосипед катился на мне, куда я перетаскивал его по двум глубоким громадным лужам, встретившимся по дороге, довольный тем, что по совету старожиллов прихватил с собой высокие резиновые сапоги на всякий случай.

Прибыв на место и сев на завалинку у почты напротив бывшего мужского и давно закрытого монастыря, по многолетней утвердившейся привычке называемого кремлем, я начал читать пришедшие в мое отсутствие письма, но скоро был оторван от своего занятия отдаленным и безутешным детским плачем. Он быстро приближался вместе с красной коляской, и за ней, согнувшись вопросительным знаком, торопливо шагал по дороге высокий Вежливый Саса, одетый не в штормовку, летнюю униформу музейных научных сотрудников, а в серый костюм и галстук. Его тщательно отглаженные брюки выглядели вызывающе в здешней рабочей, привыкшей больше к грязным спецовкам, стороне. Поравнявшись со мной, Вежливый Саса не-

ожиданно развернулся в мою сторону вместе с коляской, закрытой марлевым пологом от комаров, в углу которой стояла банка молока, с трудом добытого в чахломе коровнике Агарного завода. Вежливый Саса с отчаянием поглядел на часы и, забыв о своей ко мне неприязни, сделал приветливое лицо:

– Здравствуйте, как поживаете, Алексей Александрович?.. А я, право, хоть мне и неудобно, хотел бы обратиться к вам с просьбой. Не согласились бы вы провести лодочную экскурсию по озерам?.. Вы сами знаете, это не час и не два, а у меня ведь что случилось: жена заболела. Хоть вы у нас теперь и не работаете, будьте другом, выручите, Алексей Александрович... Вам интересен будет, – почему-то понизив голос, закончил он, – ваш экскурсант, бывший полковник КГБ, и теперь человек не последний.

Заскучав от однообразной работы последнего месяца, я не заставил себя долго упрашивать и скоро подходил к озерному причалу. Вполне еще бравый и моложавый полковник с красивой сединой, высокий и крепкий, хотя и слегка дородный, уже находился там. Не очень довольный заменой, – многолетняя служба выработала у него привычку с недоверием относиться к случайным людям, он, впрочем, скоро помягчел, увидав, что на лодочной станции хорошо меня знают. Полковник был не один. Две довольно молодые дамы красовались рядом с ним в купальных костюмах, и я, решив, что это ищущие впечатлений разведенные школьные учительницы, не ошибся.

Собственноручно выбрав лодку, самую легкую, полковник с юношеской резвостью прыгнул в нее и сел за весла. Ни разу за время пути он не позволил мне к ним прикоснуться. Показывать свою неубывшую с возрастом молодецкую силу доставляло ему удовольствие.

Было не по-августовски жарко. Довольные этим капризом не слишком щедрого северного лета, скорее застенчивые, чем вульгарные, дамы, немного волнуясь от своей раздетости, тихо переговаривались между собой, стараясь сорвать на ходу занесенные в охранную книгу желтые кувшинки. Оставив на минуту весла, полковник тоже снял с себя рубаху, обнажив сильное тело, но брюки, сославшись на простреленные ноги, оставил. То, что дам было две, круглые формы которых – об этом не трудно было догадаться – и были конечной целью полковника, казалось, доставляло ему дополнительное удовольствие. Он не решил еще, на которой ему следует остановиться, и вел общее наступление на обеих.

Позволив мне немного рассказать о монастыре и об озерах, соединенных между собой хозяйственным архимандритом Филиппом, полковник сразу же посуровел, услышав о лагерях особого назначения, устроенных здесь советской властью в двадцатые годы. Решив не омрачать прогулки воспоминаниями о расстрелах, он свысока и категорически отрезал:

– Здесь не было никаких лагерей!...

После этих слов полковник начал рассказывать сам, но не об озерах, заставляя восхищенно замирать потрясенных учительниц, а меня – размышлять о том, зачем ему понадобился еще один зритель. Моя незначительная помощь в качестве загребного с третьим веслом на корме была так неубедительна и такой сомнительной пользы, что я решил в конце концов, что официальный характер, который придавало лодочной экскурсии мое присутствие, входит в правила игры полковника, всегда и во всем, даже в делах легкомысленных, основательной и серьезной.

Внимательно слушая красноречивого полковника, от которого меня отделяли дамы, я решил было уже, что он пересказывает им прочитанный на ночь скверный детектив, но он так внушительно повторял несколько раз “мы, комитетчики...”, имея в виду свою прошлую деятельность в Комитете безопасности, что я перестал сомневаться в правдивости его слов. Единственное, в чем согрешил полковник, так это в том, что обобщил в своей редакции события, случившиеся не только с ним, но и со всеми его товарищами. Эта мысль, что весь корпус комитетчиков задействован теперь в лодочном флирте и способствует завязке никчемного лодочного романа, – немного развлекала меня. Из услышанного врезались в память два рассказа, героем которых несомненно был полковник.

В послевоенные годы молодым лейтенантом со своей возлюбленной в таком же звании теперешний полковник прибыл на задание в какую-то страну. Выполнив важное поручение, советские разведчики были обнаружены. Лейтенант с документами успел спрятаться в каминной трубе, а возлюбленную схватили. Сидя там, он слышал пронзительные женские крики: возлюбленную сначала пытали, а после убили. Он выбрался и, кажется, недолго оплакивал эту потерю.

Дамы в лодке были потрясены. Они уютно шурились на солнце и смачивали зачерпнутой из озера водой начинающие обгорать плечи, плененные странным суррогатом чувственности и опасности, красноречиво поднесенной полковником.

Увлечись своей незначительной ролью загребного и машинально орудя веслом при заходе в узкие каналы, я было задумался, как вдруг особенно торжественное восклицание полковника вырвало меня из оцепенения.

– Какая это была женщина!..

И он начал свой рассказ. Молодым лейтенантом, – было это до сидения в камине или после него, рассказчик не уточнил, – в конце сороковых годов, он получил назначение в какой-то город на Украине. Неподалеку от этого города располагался недавно восстановленный женский монастырь. Монастырю вернули лишь половину его владений, другая его часть, заброшенная и безлюдная, собственно и

завязала сюжет истории. Здесь тайно несколько раз собиралась обиженная злыми языками молодежь из числа самых здоровых и крепких, которые подростками еще были отобраны для работы в Германии. До Германии они не доехали – были отбиты наступающей Красной Армией, вернулись домой и неожиданно стали “фашистскими”. Так называли их сверстники, из чего невольно я сделал вывод, что некрепкие и нездоровые люди куда менее великодушны. Страдая от несправедливости, молодые люди записались в школьную тетрадь, выбрали командира и этим пока ограничились, не зная, что предпринять дальше. Тетрадь спрятали в надежном месте в монастыре. На этом бы и замер порыв обиженной души, но только школьная тетрадь была обнаружена бдительными земляками и оказалась на столе у лейтенанта. Он лично прибыл к месту находки и сразу же столкнулся с игуменьей, красавицей, которая произвела на него столь неизгладимое впечатление, что и теперь несколько раз он живо восклицал, переставая грести: “Какая женщина!..”

Ясно было, что монахини никакого отношения к тетради не имеют. Но лейтенант, которому красота настоятельницы зажгла кровь, поставил ее перед выбором: либо игуменья удовлетворит его страсть, либо против монастыря будет возбуждено дело, и монахини окажутся в лагерях вместе с нею. Нет, полковник не был грубым и сильным. Он загонял жертву в угол, не пользуясь оружием, и даже имел своеобразное зоологическое представление о чести: получив свое, разорвал на глазах у игуменьи злосчастную наивную школьную тетрадь.

Мы причалили, и я, спрыгнув на берег, с недоверием покосился на рассказчика, считающего лучшим своим воспоминанием подобную победу.

Лодочные экскурсии по озерам всегда кончались пикниками. К трапезе на свежем воздухе полковник подготовился основательно. Он вытащил из лодки большую коробку с продуктами и бутылку спирта, настоящего на тридцати травах его шофером, которого он взял с собой из службы безопасности в лесную промышленность, где теперь успешно подвизался. Разлив среди зарослей густого черничника, в уютном тенечке, слегка подпорченном назойливыми комарами, спирт по рюжкам, которые были выпиты, полковник сразу перешел со всеми на “ты”, себе больше добавлять не стал. Вижу, что про себя он отметил, что и моя рюмка была первой и последней. Остальное, подбадриваемые полковником, потихоньку выпили расстроганные его вниманием дамы.

Полковник был радушный хозяин. В его хлопотах за столом казалось что-то отеческое, так, должно быть, завоевывал он сердца своих подопечных. И я невольно ловил себя на мысли, что несмотря на отвратительный рассказ об игуменье и на его зоологическую страсть

к женщинам, нахожу в его характере подкупающие черты: твердость характера, основательность и какое-то обаяние незаурядного человека. И мне казалось непростительным быть при таких задатках всю жизнь в плену у чувственности, и теперь еще – ему было за шестьдесят – толкающей его к женщинам случайным и скорее всего ничтожным.

Пробыв около пяти часов в дороге и на пикнике, мы вернулись к озерному причалу. Так же легко обманывая годы, полковник сам греб всю обратную дорогу. На прощанье он дружелюбно и долго приглашал меня в гости на теплоход. Я отпирался, ссылаясь на то, что поздно освобожусь – в бане может оказаться очередь. Но он просил приходить все равно, в любое время до двенадцати и искать его в баре, если каюта будет закрыта. Немного озадаченный этой настойчивостью, я наконец решил, что даже полковнику не все человеческое чуждо, не одни же многочисленные романы вперемежку с опасностью составляли его существо. Я мог напомнить ему кого-нибудь из тех, с кем он служил и кто по-своему был дорог ему когда-то. Так что почти пообещав придти, я отправился к монастырю, раздумывая дорогой над тем, какие понятия о дружбе должны быть у человека, влюбленного в свои воспоминания о загнанной в угол игуменье.

У монастыря, возле заросшего зеленой травой рва, напоминая средневековый солнечный пейзаж, рядом с мамой-овцой прогуливались ягнята величиной с kota. Схватив одного, я послушал, как стучит в моих руках его сердце, поставил на место и поднялся вверх по склону к белой башне. Возле бойницы подошвенного боя стоял, переминаясь и подозрительно ощупывая свои брюки, немного не добравший роста красивый парень из Ярославля с густыми пшеничными усами. В любом другом месте этот недобор остался бы незамеченным, но среди высокой музейной мужской молодежи он был Маленьким Муком.

- Привет, – кивнул я, подойдя близко, – ты что стоишь? Ныряй!
- После тебя, – замявшись, отвечал Маленький Мук.
- Первым пришел, первым и ныряй.

Не найдя на этот резон ответа, Маленький Мук нагнул, сунул голову в бойницу, уперся руками о камни, оттолкнулся, и его брюки, сильно вытертые за лето о сиденье при гребле, расползлись от рывка прямо у меня перед носом. Не слишком довольный тем, что постороннее лицо увидело их кончину, он нашелся и пошутил из башни: “Вот черт, опять каблук оторвался!”

Блеснув в башне фонариком, Маленький Мук исчез, я нырнул следом и скоро уже стоял в Святительском корпусе перед дверью с оставшимся тюремным глазком, замазанным краской. Потрогав висевший на ней холодный, тяжелей замок, я вышел другим подъездом в монастырский двор и встретил там девушку-сторожа с расstroенным

заплаканным лицом. Она держала в руках письмо. Зимой сложились между нами, в чем-то товарищами по службе, особенно доверительные отношения, впрочем, более с ее стороны. Увидев меня, она обрадовалась и сейчас же сообщила, что ее сухопутный моряк, охраняющий военную береговую базу, мелькавший всю осень ленточками бескозырки в окне монастырской сторожки, получил от родителей письмо, в котором они не одобряли его желания жениться на ней. Он был армянин, и она полагала, что это и было препятствием к браку.

– Ну и что теперь твой жених?

– Думает, – печально и жалобно вздохнув, отвечала девушка-сторож. – Алеша, как ты думаешь, женится он на мне или нет?

– Он – не знаю, а я бы ни за что не женился. И даже не посмотрел бы.

– Почему это даже не посмотрел бы?

– Потому что знаю точно, – нагнувшись, тихо сказал ей на ухо, – честь свою не берегла.

– Ой, какой ты противный, – испуганно оглянувшись, прервавшимся голосом прошептала она, – это же не важно, если любишь.

– А что тогда важно?

– А почему ты, – поспешно меняя тему разговора, спохватившись и повеселев, спросила девушка-сторож, – больше ни о чем меня не спрашиваешь, Алеша?

– А о чем я еще должен спрашивать тебя?

– Ну хотя бы о том, приехала ли Даша.

– И что же, приехала она?

– Приехала вчера, – торжественно сообщила мне собеседница, – а сегодня ушла в лес за черникой с моей мамой и не скоро вернется. После она пойдет к нам помочь маме сшить мне свадебное платье и наверно заночует.

– Что, разве Даша шьет? – удивился я, помня ее только с книгами и среди книг. – У нее ведь, кажется, и иголки с ниткой не найдется.

– Много ты знаешь. Шьет она очень хорошо.

– Вот как, – отозвался я, подумав, что мне придется принять приглашение полковника и завернуть на теплоход после бани. – А куда ты денешь это платье, если твой жених на тебе не женится?

– Женится! – решительно топнув ногой и вздрогнув широконым носом, с чувством крикнула девушка-сторож.

Вечером в бане я задержался даже дольше, чем думал, встретив и проговорив там с Кап-три. Поздно, после одиннадцати, последними мы вышли с ним оттуда и скоро подошли к морскому причалу с пришвартовавшимся к нему ярко освещенным белым кораблем. С



корабля слышна была музыка, и призрак чужого веселья заставил меня остановиться. Я вспомнил приглашение полковника, решил зайти и отдал Кап-три свою сумку с мокрым бельем, по-холостяцки исподтишка выстиранным в бане. На прощанье он, встрепенувшись, зацепил меня вопросом, крикнув вслед:

– Господин поручик! Обязанности р-р-рядового в рассыпном строю? – И освещенный фонарем бравый старик в засалившемся морском кителе и фуражке с “крабом” в ответ на мои беспомощно разведенные в сумерках руки победно закричал:

– А-а-а, не зна-а-ешь! Гм, хм, хе... Сегодня ты проиграл мне, борода!...

Пройдя в теплоходный буфет, я увидел за стойкой широкую спину полковника, обнимающего даму, – другой уже не было, – и, догадавшись, что опоздал к задушевной беседе, к которой, мне показалось, он расположился во время сегодняшней лодочной экскурсии, огляделся по сторонам. В баре сидело несколько человек и среди них выделялся Молодой Ученый с точеным профилем и табачной трубкой в зубах. Он был красив до декоративности и казался таким значительным, что даже выдавшая виды теплоходная буфетчица, прощая ему несоответствующее ее идеалам наличие небольшой холерной бороды, глаз не могла от него отвести и, подавая ему кофе, с фальшивой любезностью – верхом обходительности – спрашивала, при этом сжимая в кулаке чаевые:

– Володя, ну зачем вам четвертый кофе, да еще без сахара?..

Я подсел к Молодому Ученому, думая идти обратно вместе с ним, он, однако, не спешил уходить и заказал такой же кофе мне. Деньги он тратил по-гусарски, без оглядки, зная, что из “имения” еще пришлют – родители баловали его. Полковник, между тем, оглянулся, увидев меня, оставил свою даму и подошел проститься. Все, что он делал, он делал основательно и до конца.

– Алеша, тебе.

Он протянул мне свою визитную карточку, настойчиво предлагая звонить ему, когда буду в Москве и, несмотря на мои отнекивания, вручил фляжку со спиртом, настоящим на тридцати травах: оставлять без благодарности тех, кто оказал ему услугу, было не в его правилах. У стола он скользнул взглядом по Молодому Ученому и, когда я отрекомендовал его этнографом, усмехнулся одними, много видевшими всего глазами. Рядом с его действительной значимостью, за которой стояли сломанные судьбы и биографии, Молодой Ученый был настоящим картонным персонажем. И я, уже собравшийся попасться на грубую лезть его уважительного отношения ко мне, приняв за дружелюбие основательность удава, сам усмехнулся в душе своей наивности, вспомнив тяжесть его прощального рукопожатия.

– И все-таки, признайся мне, – отхлебнув кофе, спросил я Молодого Ученого, когда полковник отошел, – ведь ничего хорошего в этом да ни в каком другом кофе нет?..

Он посмотрел на меня с сожалением. Мы были разными. До времени он даже вовсе не замечал меня и стал здороваться при встрече только после того, как я, придя к нему закупать удобные мягкие офицерские сапоги из яловой кожи и непромокаемую плащ-палатку, разговорился и засиделся у него за чаем. Отец Молодого Ученого был военным и одаривал его излишками своего гардероба, в которые тот, не желая приспособливать свои вкусы к погодным условиям и природным ландшафтам, так и не оделся. Родом Молодой Ученый был из Симферополя и казался в здешних краях экзотическим нежным цветком. Красивым цветком, заботливо взращенным тремя своими старшими сестрами, он, впрочем, и был. Сестры эти до сих пор баловали единственного брата, одевая в необыкновенные, с большим вкусом связанные джемпера и присылая ему варенье из лепестков крымских роз, попробовав которое, я констатировал вслух за чаем, что вкусного в нем – только его название. Выйдя после нашего знакомства в темноту коротенькой улочки, освещенной желтыми редкими окнами с застывшей в них тоской, не скрашенной даже собачьим лаем, в последние зимние дни, напоенные весной, вдохнув едва уловимый запах черноземной земли, в которую давно превратился навоз, сваленный возле заброшенного монастырского коровника, просачивавшийся из-под тяжелых сугробов, уже приготовлявшихся к смерти, я вспомнил свои детские впечатления от Крыма. В холодной зимней тишине под звездным северным небом меня настигли и встали передо мною давнишние сумерки симферопольского вокзала, как все другие пахнущего всеми захолустьями мира, сгущающееся в вечерней прохладе благоухание цветущих вишен и южные необычайно яркие звезды, под которыми невольно вкрадывалось в душу предчувствие небывалого счастья, разбившееся назавтра же в Ялте у моря, но каждый вечер наступающее меня снова, как только загорались звезды и запах тысячи клумб разливался во тьме среди пальм и кипарисов.

Комната Молодого Ученого, которую он, ссылаясь на нездоровье, выхлопотал себе в деревянном двухэтажном, но все же барачного типа доме, вместо того, чтобы, как все, жить в сырой каменной келье, соответствовала облику своего хозяина. Она была завешана чуть ли не тремя персидскими коврами, в окружении которых их хозяин обидно, без свидетелей, молот по утрам себе кофе на старинной ручной кофемолке, кусая трубку. Трубок на проморенной морилкой полке, отбившей себе немного места у ковров на стене, изготовленной здешними столярами за поллитра спирта, лежало семь или шесть. Взяв по очереди каждую, Молодой Ученый с удовольствием рассказывал мне, где и когда были они им куплены и сколько времени он их

обкуривал. Рядом с трубками стояло несколько книг о мировых религиях, выдающих его интерес к оккультизму, впрочем, вполне научный – без всякого мистицизма, заклинаний и рисований пентаграмм на полу своей комнаты в опасном ночном одиночестве. Среди лежащих на полке красивых вещичек, добытых Молодым Ученым в экспедиции по Алтаю в свою недавнюю студенческую пору, выделялся ритуальный шаманский кинжал с рукояткой из кости мамонта, и его новый владелец от удивления вытащил изо рта трубку на мое замечание, что иметь дома такие вещи – для души бесполезно.

Посреди комнаты, тоже на ковре, стоял очень большой пень с красивыми декоративными и нарочно сохранными наростами. На пень прибита была маленькая наковаленка, возле которой лежала маленькая кувалдочка, два изящных молоточка и серебряный николаевский рубль. Повертев его, Молодой Ученый с тоской неслучившегося ювелира сообщил, что никак не собирается раскатать себе из этого рубля кольцо. Эту фразу он повторял каждому своему гостю, и злые языки окрестили его за это кузнецом, а комнату – кузницей.

В экспедиции по Алтаю, решив прокатиться на лошади, Молодой Ученый упал с нее и повредил себе спину. По этому случаю, раздеваясь по субботам в бане, он снимал с себя последним что-то вроде пояса штангиста, которому я не слишком доверял, подозревая в нем все ту же позу. Однако, неловко соскочив с трапа после того как мы засиделись, слушая музыку, в баре, он вскрикнул от боли, схватившись за спину.

– Ну, ты даешь! Лужи перепрыгнуть не умеешь...

– Легко тебе судить, – с обидой и высокопарно отвечал он, – ведь ты никогда не падал с лошади.

И я, вспомнив время, проведенное в госпитале в бытность мою курсантом, скрашивая свою грубоватость, возразил:

– Падал, но не с лошади и значительно удачней.

Мы отошли немного и остановились. В море горели зеленые и красные огни маячков, указывавших проход в залив Благополучия. Молодой Ученый с досадой отмахнулся от комаров, не боявшихся дыма его трубки, а я подумал о том, что никогда еще не провожал ночных кораблей, и их огни во тьме не врезывались в мою память.

Именно ночью всегда бередили мне душу мигающий высоко среди звезд красный огонек самолета или освещенные окна проходящих мимо поездов, невесть за какой поворот уносящих человеческие судьбы: уже угасающие жизни, цвет зрелых лет или неясные детские надежды. В этот воображаемый полет за ними, ускользающими далече, в недосказанность размывающей их тьмы, вмешался сегодня отставной полковник безопасности, стечением обстоятельств вырванный из корабельной каюты с подробностями, которые самому мне, захваченному

ночным величием мира, в голову никогда не приходили. Я посмотрел на Молодого Ученого, вспомнил, что зябнувший в ночной прохладе спутник мой из Симферополя, города, однажды посулившего мне счастье, откуда рукой подать до теплого Черного моря, которое называют черной лужей моряки Северного флота, так же, как называют балтийской лужей Балтийское море, и спросил его в темноте:

– Ну, а тебя-то как сюда занесло?

– А тебя?

Молча мы двинулись дальше, он, глубокомысленно покуривая, и я, спрашивая себя, что заставило нас, таких разных, покинуть насиженные места и отправиться заново обживать брошенные и оскудевшие окраины России, в сердце которой, в Москве, однажды мне посчастливилось родиться, где в маленькой деревне недалеко от Старой Смоленской дороги прошло мое детство и на северном острове среди студеного моря слились в моем сердце вместе любовь к Родине и любовь к женщине.

Шагая по черной ночной земле, скрывающей братские могилы, оставленные ГУЛАГом, я нащупал в кармане старый малиновый погон, подаренный мне Кап-три. Погон этот времен гражданской войны принадлежал кому-то из бригады русских добровольцев полковника Михаила Гордеевича Дроздовского. В Южной России, там, где храбро отвоёвала она, сметенная красной лавиной, давно уже затих визг шрапнелей и хрип снарядов и потемнели белые кресты со свежими надписями на свежих могилах, в которые легли спать мертвым сном до страшного суда русский красный Андрей и русский белый Андрей, оба дравшиеся за Россию.

Давно-давно отзвучали в зеленой кубанской степи слова молитвы, прочитанной перед боем, растаял прозрачный пар над верховыми, развеялся запах конского мьла, пота и сиреней и замер где-то в кубанской станице жалкий возглас своими же расстреливаемого своего возле цветущих вишен:

– Братцы, да за что же?!

Да было ли все это: сыпняк, серая вша, заколоченные магазины, звуки полкового марша, идущая в ночь, в снег белая пехота, покрытые инеем лица, докуренная в рукав перед боем последняя папироса и сестры милосердия, крестящиеся при каждом взрыве снарядов... Раненные кони с вываливающимися нутром, пока хватит сил ковыляющие за колонной, дымящиеся у костров мокрые шинели, раненные люди посреди поля на подводах с налившейся из них в снег кровью, кровавые примерзшие бинты и чей-то заглушенный ветром горячий шепот: “Мама... Мама, помолись за меня... Разве ты не видишь – твой сын умирает?..”

Откуда он, чей это погон? На озере Иссык-Куль или где-то еще отыскал его никому ничего не договаривающий Кап-три?

Быть может, погон этот был нашит на плече у вестового из Новочеркаска, где уже не ждала его писем заколотая в госпитале матросскими пьяными штыками сестра милосердия, его невеста, кричавшая теперь среди рвущихся снарядов:

– Господин полковник, просим вас уйти назад!..

И слышащая в ответ:

– Чтобы я показал себя перед офицерами трусом!

Или другой его хозяин, раненый капитан с зашитой в шинели под сердцем ладанкой, из-под Тулы, в разграбленном и сожженном имении которого не ждала его старая мать, в жарком бою у пулемета, обернувшись, жестко бросал товарищам, желающим остаться, значит – лечь навеки рядом:

– Я буду прикрывать отступление. Извольте отходить!.. Исполнять мое приказание!

А может быть этот погон был сорван с гимназиста из Мариуполя, которому повязала в поход мальчишескую тонкую шею мать своим теплым платком, застенчиво краснея, обещавшего: “Господин полковник, честное слово, я никогда больше не лягу в огне”, – позднее расстрелянного под Таганрогом в малиновой, пропотевшей и далеко откатившейся от него в поле фуражке?..

У старой разрушенной гидроэлектростанции рядом с монастырем я расстался с Молодым Ученым, быстро поднялся к Белой башне, соединенной с сушилом и, услышав в ней вместо гробового молчания женские голоса, остановился, озадаченный тем, что представительницам слабого пола зачем-то понадобилось на исходе ночи лезть в бойницу подошвенного боя. Вскоре, запыхавшись и неся за собою запах валокордина, из нее выглянула Амалия Львовна, интеллигентная пенсионерка из Москвы, в прошлом преподававшая иностранные языки в каком-то московском институте, приехавшая поработать летом смотрителем в музее. Блеснув стеклами очков, она вздрогнула от страха. Но тотчас меня узнала, облегченно вздохнула и произнесла, выбираясь наружу, небольшую взволнованную речь:

– Алексей Александрович, если бы вы знали, как я благодарна Дашеньке за то, что она показала мне этот выход! Вы не представляете себе моего отчаяния! С трудом я договорилась на теплоходе, чтобы меня взяли, но оказалось, что монастырские ворота запираются на ночь. Я бегу в сторожку, она закрыта изнутри, стучу, никто не открывает... Я бегу в Новобратское общежитие, после – в Святительское, в темноте по коридорам, нигде ни единой лампочки, стучусь подряд во все двери, умирая от страха, и никто, никто не хочет мне помочь, все притворяются спящими. А я так боюсь опоздать к отплытию!..

– Вам незачем было торопиться. До отплытия почти три часа, так что два из них у вас еще в запасе.

– А вы думаете, – язвительно и возмущенно откликнулась она, –

что через два часа кто-то придет и освободит меня отсюда?.. Нет, уж я лучше подожду на причале... Кстати, — возвращаясь на родную педагогическую почву, возделанную годами учительской практики, вдруг строго спросила она меня, — вы не знаете, куда девался сторож и почему в сторожке мне так и не открыли?

Вопрошающе и возмущенно она посмотрела мне в лицо, но я не рассказал ей о том, что в монастырской сторожке, быть может, навек прощаются сухопутный моряк с бербазы Северного флота и девушка-сторож, не думая о том, что обрекают кого-то искать и пить сердечные капли.

— Даша, непременно приезжайте ко мне, если будете в Москве, — вытаскивая подаваемую ей из башни коляску, оправившись от пережитого волнения, повелительно и громко произнесла в бойницу Амалия Львовна, достала записную книжку и написала, повернувшись к отдаленному тусклому фонарю, на вырванном листке свой адрес.

— Возьмите, Даша! Обязательно приезжайте!.. Вы почему не отвечаете?.. Да где же вы, наконец? — окончательно впадая в педагогическую раздражительность, недоуменно закончила она.

— Вы будто не видите, Амалия Львовна, — произнес я, забирая у нее листок с адресом, — что Дарье Андреевне неудобна эта перекличка через стену. Не беспокойтесь, я передам ей ваш адрес, — и крикнул в бойницу: — Дарья Андреевна, подождите, не уходите!..

Быстро привывав к коляске Амалии Львовны по ее просьбе покажу — большую сумку с еще не спелой брусникой, прикрытой мешочком сушеных грибов, с которой она осторожно заковыляла вниз и дальше, к заливу с единственным в нем белым кораблем, прощально блеснув стеклами очков, я привычно нырнул через бойницу в башню, вспомнив разорвавшиеся вчера у меня перед носом в таком же полете брюки Маленького Мука, и не сразу разглядел в темноте Дарью Андреевну, когда приземлился.

— Я думала, что вы уехали, — помолчав, куда-то в пространство сказала она через минуту после того, как я оказался рядом и отряхнулся от пыли.

— А разве вы думали обо мне?

— Что вы теперь делаете? — уклончиво, быстро, как школьница, выговорила она, немного охрипнув.

— Что я делаю?.. Днем ловлю водоросли и думаю о вас, а ночью думаю о вас и отбиваюсь от комаров.

— Вы что-то хотели мне отдать, — немного помолчав и решив не замечать своей власти надо мной, отозвалась она в темноте.

— Вам что, действительно нужен адрес Амалии Львовны?

— Не знаю, — растерянно переходя на шепот, где-то рядом сказала она, — вы так громко говорите... У меня голос пропал... Наверное, не нужен...

– Никогда не говорите мне “наверное”, Дарья Алексеевна. Вы все знаете наверняка.

– Ну, хорошо. Я сказала не подумав, – в ее голосе послышались рассерженные нотки. – Он мне не нужен. Оставьте его себе, я все равно никогда до него не доеду... Я уйду.

– Нет уж, возьмите, Дарья Андреевна, – найдя в темноте ее руку и стиснув в тонких пальцах скомканный листок из записной книжки, остановил я ее, – не огорчайте, навестите старушку. Она вам приготовит коробку шоколада в награду, и вы побеседуете за чаем о паузных формах и анатомии стиха.

– Не литературничайте, – укоризненно прошептала она, стараясь освободить руку, уронив при этом накиннутую на плечи фуфайку. – Мне холодно. Это из-за вас я охрипла, – и уловив в моем дыхании давно уже должное быть развевающимся воспоминание о рюмке спирта, настоящего на тридцати травах шофером полковника, с огорчением заключила: – Вы пьяны.

– Даша... Я не пьян. Я люблю вас.

И пьяный только этой встречей, чувствуя, как во мне с цепи срывается нежность, я обнял ее теплые, покрытые расплетенными косами плечи, и не поверил себе, что я смею целовать в монастырской башне едва различимый, почти не одетый, в ночной рубашке извлеченный из теплой постели испуганной Амалией Львовной, неповторимый женский идеал, который я себе однажды придумал, разглядывая запачканный в золе рисунок, два года назад найденный в старом купеческом доме на Ферапонтовской улице.

– Дарья Андреевна, не уходите!..

Мои слова бессильно замерли в тишине вместе с эхом ее поспешных шагов по узкому деревянному тротуару поверх поломанных кирпичей, по которому, ни разу в темноте не споткнувшись, она привычно ушла в сушилку, забыв о своей фуфайке. И я, одев ее, чтобы согреться еще оставшимся в ней женским теплом, медленно пошел следом, ощупью находя под ногами ровные доски тротуара.

После темноты башни снаружи хорошо было видно, что ночь уже отступила, и в предрассветной синеве стали заметны выкрошившиеся кирпичи монастырских стен. Сколько паломников и заключенных – кронштадских моряков, офицеров, врачей, учителей, профессоров, крестьян из Средней России и басмачей Средней Азии, безвестных и именитых, ума великого и простого – видели эти стены, и сколько их, мимолетных гостей на земле, ушло в безмолвие по вымощенному камнями монастырскому двору, в который нароняли своих перьев вороны и чайки и где теперь было тихо, будто никто не бежал здесь только что по камням. Я машинально сунул руку в карман, вытащил оттуда ключ и маленький аккуратно обернутый православный молитвослов, на котором от руки написано было печатны-

ми буквами “Земля есть место приготовления к Небу”, и, сев на холодные сложенные кирпичи, подумал, что тайна всякой русской души, воспитанной эхом высокой церковной нравственной традиции, заключается в невысказанной, но нежной любви к Богу, а еще больше – в муках о себе, от Него отступившей. Отсюда все терзания и надрывы сбитого с толку химерой лжеучений ведущего образованного класса, русской интеллигенции, с ее бесконечной тоской по высоте, которой она не удержала. И если бы не маленький этот молитвослов, если бы не возрождающаяся Церковь – не сила святых ее таинств, святых молитв и святых ее икон, то и не быть бы больше загадочной трепетной русской душе, раздавленной наглой и торжествующей плотью.

Положив молитвослов обратно в карман, я посмотрел на ключ, спохватился, что ключ этот от двери с покрашенным краской тюремным глазком и, значит, Дарья Андреевна мерзнет теперь где-то в коридоре, вспомнив трагическое происшествие, случившееся в Святительском корпусе перед моим отъездом на водорослевый производственный участок, вбежал на второй этаж, где слышался пьяный храп плотников из-за дверей. Один из них, Маршал Жуков, получивший свой титул из-за фамилии, прославленной великим полководцем, скрипнул во сне зубами и чертыхнулся. Должно быть, и хорошо это, что никого из спящих не разбудила этой ночью испуганная Амалия Львовна.

В конце коридора, почти рядом со своей дверью, единственным белым пятном в предрассветной синеве, просачивавшейся через окно, сидела рядом с ним на ящике, принесенном от магазина, Дарья Андреевна, скрытая сумраком и тусклым золотом распущенных кос.

– Простите меня, Дарья Андреевна, – сказал я, подходя и открывая ключом замок на двери с замазанным краской тюремным глазком, – я чуть не оставил вас без крова, – толкнул дверь, из кельи пахло сыростью и теплом. Уходя, хозяйка ее оставила свет, и на столе видны были книги с пометками на открытых страницах.

– Вас надо бы выпороть за то, что вы ходите ночью одна в угоду какой-то глупой старухе.

– По-вашему, ее отчаянье было глупостью и его нужно было не заметить? – не сразу нарушив свое молчание, не отнимая ладоней от лица, глухо из сумерек с недоумением ответила она мне.

– Да зачем же она так отчаивалась? Вот так горе – опоздать к теплоходу. Уехала бы двумя днями позже, и вы бы ничем не рисковали. Немедленно идите к себе и закройте. Вы забыли, наверное, что теперь не зима и на острове много случайных людей.

– Напрасно вы так волнуетесь. Здесь никогда ничего не случилось.

– Глупость какая. Не случилось до времени, Дарья Андреевна.



Вам разве не рассказывали, что в ваше отсутствие на этом самом этаже убили человека?

– Как убили? – не отнимая ладони от лица, вздрогнув, спросила она, вставая с ящика.

– Убили и унесли в подклет Преображенского собора. Он оказался убийцам заброшенным подземельем, в который сто лет никто не зайдет, а там каждая трещина сосчитана и каждый кирпич взвешен. Так что утром труп сразу же обнаружили ведущие натурное обследование московские реставраторы.

– Алексей Александрович!.. Отойдите, пожалуйста, от двери подалее.

– Дарья Андреевна!.. – я рассмеялся. – За что?

– Мне холодно, Алексей Александрович. Отойдите, пожалуйста, как можно дальше.

– Ну, хорошо.

Я медленно послушно измерил шагами длинный коридор. Обернулся. Рядом, в единственной на все общежитие семейной келье, заставленной мебелью, испорченной перешедшей со стен сыростью, заплакал младенец, и слышно было, как за дверью, скрипнув кроватью, встала к нему его мать. В коридоре уже никого не было. Я вышел во двор, посмотрел в знакомое зеленое окно, свет из него просачивался в серую раннюю тишь через шторы, вспомнил, как на мгновение нечаянно легли в темноте мне на плечи послушные нежные женские руки, и снял со штормовки светлый длинный волосок из распущенных кос. О, плоть, где твоя победа, где твоя жертва?.. Лишь предрассветная тишина знает о твоём сраме на поле брани, где сейчас душа взяла верх над тобой.

Вернувшись к себе и наскоро собрав несколько книг, я взял велосипед и спустился с ним во двор. Было пустынно, тихо, серо, но где-то за стенами горизонт уже красился в розовые отсветы зари. Кот черной струйкой слился с лесов, окружающих Новобратский корпус. Девушка-сторож издали помахала мне рукой, подзывая к себе. Я подошел. На крыльцо выскользнул из сторожки сухопутный моряк, оберегающий береговую базу воинской части. Его матросский воротник был в беспорядке – загнулся и горел с изнанки ярким красным бархатом, особенным шиком среди моряцкой здешней братвы, разсыкающей всюду в поселке кусочки бархата, чтобы найти его в места, назначенные модой. На макушке у моряка красовалась маленькая дембельская беска – вдвое уменьшенная бескозырка с лентами вдвое длинней уставных, шить которые наловчился и благодаря этому процветал музейный художник Серега из Одессы, сам не так давно бывший моряком. С гонором рассказали как-то мне моряки, что островная эта мода однажды потрясла транзитного и совершенно сухопутного майора – “сапога”, увидевшего в московском аэропорту

самодеятельного дембеля с бербазы островной воинской части.

– Что это за моряк и какой это род войск!? – с недоумением спросил он моряка, оглядев его с головы до ног, и услышал ответ из трех заносчивых надменных слов:

– Стратегический Северный флот!

– Я вижу, вас можно поздравить, – внимательно посмотрев в сияющее лицо девушки-сторожа, сказал я. – Когда свадьба?

– Скоро... Скоро, Алеша. Хочешь быть свидетелем на... Ай!

Тут сухопутный моряк слегка наступил ей на ногу.

– Нет уж, ребята. Я отгулял свое на свадьбах. Неужто вы не найдете свидетеля-моряка?..

Мужское благодарное рукопожатие было ответом на это, и девушка-сторож, нежно повиснув на руке жениха, нарочно тонким голосом зашебетала мне вслед, так тонко – не для меня:

– Ой, Алеша, а ты опять уезжаешь?... Подожди, я открою ворота.

Меряя шагами свое одиночество, охраняющая что-то старуха в плюшевом жакете радостно, несонно кивнула “здравствуйте” велосипеду, мне, скатившемуся к паре над озером, опрокинутым блюдом теплого розового киселя, где уже скакал раненько пододеяльник в руках молодой бабы с широкой спиной. Сиреневым глазом мелькнула напоследок Белая башня, хранящая тайну о недавнем – не ночном, не банальном, не случайном, не смятом чистом поцелуе пред рассветом. Вот уже скрылась из виду узкоколейка, поднятая из болот, оставленная ГУЛАГом в лесу, где мошкара рисовала прозрачное покрывало утра. Я подъезжал к унылому летнему пристанищу баркасов, туда, где стояли, обдуваемые непрерывными свежими ветрами дощатые серые бараки со вбитыми в стену длинноногими комарами, с пожухшими цветами огурчиков и крошечными листьями на окнах.

## ДОХОДНЫЙ ДОМ С ЭРКЕРОМ

Утром того странного дня – это была суббота – я долго просыпалась, нежилась в теплой постели, не открывая глаз, прислушивалась к гомону птиц во дворе и снова проваливалась в полудрему. Как всегда пытаюсь вспомнить ночные сны, в погоне за их неясными очертаниями я рисовала себе новый сон, сладкий и безмятежный, где люди и события подчинялись моим фантазиям. Но вдруг внутренний голос заставил меня окончательно проснуться с мыслью о том, что я должна немедленно встать и отправиться в центр города к своему старому дому. Тому самому, что уже несколько лет отпугивает прохожих провалами пустых оконных глазниц, сквозь которые, как в другом измерении, виднеется небо.

Мучительно захотелось очутиться на противоположной стороне улицы, задрать голову и отыскать чудом сохранившуюся башню с остатками черепичной крыши, знакомый эркер и три узких окна на четвертом этаже.

Много лет назад, прижавшись лбом к оконному стеклу, я часто смотрела сверху на перекресток двух привокзальных улиц. Жизнь на них не прекращалась даже по ночам.

– Тебе нравится смотреть на улицу? Ну что там может быть интересного? Идет снег. Прохожих уже мало, все разошлись по домам и улеглись спать. И тебе пора, завтра в школу вставать.

– Я еще немножко посмотрю, бабушка. Видишь, фонарь качается на ветру и около него снежинки, как яркие белые звездочки. А может, и пролетку с лошадей увижу. Ты же сама говоришь, что это последняя лошадь в Риге, скоро будут одни автомобили.

Как давно это было... И сколько я не пыталась отодвинуть все, что связано со старым домом, воспоминания лезли с комариной назойливостью, не давая мне жить настоящим. Иногда ка-

залось, что дом, как капкан, не хочет отпускать меня, держит в тисках прошлых лет, тянет в пустоту зияющих окон.

Я собралась и поехала к вокзалу. Дом производил впечатление еще более неприятное, чем из окна троллейбуса. Люди, сновавшие на оживленном перекрестке, отводили от него глаза как от гигантской раздавленной кошки, вдруг оказавшейся под колесами.

Я долго набиралась храбрости, чтобы пройти через соседнюю поворотню и заглянуть в каменный четырехугольник двора, где когда-то играла в “классики” и откуда по черной лестнице можно было подняться в нашу квартиру.

Двор поразил меня не только кучами мусора, доходившими почти до второго этажа, но и давящей тяжестью замкнутого пространства. Поеживаясь от ощущения, будто кто-то хочет захлопнуть крышку ящика, в котором я оказалась, я уже было собралась выскочить на улицу. Но тут мое внимание привлек листок бумаги, прикрепленный к стене рядом с бывшим входом на черную лестницу. Чистенький и аккуратный, он явно был здесь чем-то инородным и, по-видимому, прикрепили его совсем недавно. Заинтригованная, рискуя сломать себе шею, балансируя на грудке досок, камней, старых банок и еще черт знает какой дряни, я добралась до черного хода.

“Уважаемые жильцы 5-й квартиры дома 16! Приглашаю вас сегодня на вечер воспоминаний. Сбор в комнатах Носоновских. Буду рада также всем соседям из других квартир”.

И еще внизу стояла очень знакомая неразборчивая подпись. Где-то я такую видела...

– Что за чушь? – изумилась я. – Какой может быть вечер в комнатах Носоновских? Тут не то что комнат, нет в помине даже стен и полов. А сами Носоновские давно умерли, одна внучка осталась, да и та, говорят, в Израиле. Ну, конечно, кто-то не очень удачно пошутил.

Я уже перепрыгнула с одной кучи мусора на другую, как вдруг меня как током ударило. Подпись-то... моя – я так расписывалась в школе. За родителей, в дневнике.

Очутившись на улице, я перевела дух. Голова шла кругом. Мимо как ни в чем не бывало ползли троллейбусы. У магазина за дощатым забором, которым был обнесен дом, сидел все тот же нищий, и ветер по-прежнему трепал обрывки полиэтиленовой пленки в окне второго этажа.

– Нужно поскорее забыть этот глупый розыгрыш, – успокаивала я себя. – Волноваться не следует, у меня сегодня уйма важных дел, на которых необходимо сосредоточиться. А вечером мне еще с подругой идти в театр.

И действительно, в суতোлке дня я стала забывать о злополучном листке бумаги с моей детской подписью. Вечером, когда мы возвращались на машине из театра, подруга свернула к вокзалу и остановилась, чтобы купить в ночном магазине хлеба. Я осталась сидеть в машине и... случайно бросила взгляд на темный дом. Сердце у меня упало – на четвертом этаже светились три окна Носоновских. Я выскочила из машины, помахала рукой возвращавшейся подруге и бросилась к дому.

- Опаздываешь, соседка. Все уже давно собрались. Думали, ты не придешь, – услышала я знакомый голос Савелия Каллистратовича, отставного полковника. – Пожалуй, нам без политинформации сегодня не обойтись. Я тут набросал, ждал тебя, чтобы ты поправила, а то черт знает, как теперь рассказывать.

- Господи Боже мой, – пронеслось у меня в голове. – Какая в наши дни может быть политинформация...

Почувствовав, что я не одобряю его намерений, он спрятал блокнот, взялся за старинную медную ручку дубовой двери и галантно пропустил меня в подъезд первой.

В ту ночь я больше ничему не удивлялась – ни зеркалам в вестибюле, ни целехонькой резной деревянной скамейке между этажами, ни цветному кафелю на лестничных площадках.

Все уже собрались в столовой Носоновских за большим, празднично накрытым круглым столом. Из старенькой тарелки-репродуктора лилась тихая музыка. Кошка Носоновских сосредоточенно точила когти на дверце черного буфета, хитро шурясь на меня зеленым глазом. Мол, не сомневайся, все чистая правда, а впрочем, как сама решишь...

За столом сидело человек десять. Присутствующие передавали друг другу маленькую коробочку и странно улыбались, обнаружив в ней что-то такое, что вызывало в них радость и удивление. Но заметив меня, Надя Сайкина, державшая ее в руках последней, поспешно накрыла коробочку салфеткой.

- А вот и Лидуша! Наконец пришла. Садись к столу и выпей с нами за встречу.

Я протиснулась на единственное свободное место между Адой Носоновской и Колькой Касьяновым, чье присутствие, не скрою, меня озадачило. Вот уж не думала, что бывший уголовник и сегодняшний прeusпевающий бизнесмен тоже заглянет на вечер воспоминаний. Мне казалось, что он нас всех терпеть не мог.

- Ну, как поживаешь, подруга детства? – зашумел Колька, наливая мне в бокал шампанского. – Надо сказать, почти не изменилась с тех пор, как я тебя видел в последний раз. Все в библиотеке сидишь? Ну и угораздило тебя связаться с такой работенкой. Когда вместе росли, вроде нормальной девчонкой бы-

ла. А тут книги, пыль – мертвечина какая-то. Тебе не надоело?

- Ну и представленьце у тебя. Ты хоть раз в библиотеку заходил?

- Заходил, старушка, заходил. Скукота смертная. И башлей, небось, курам на смех?

- Насчет денег – тут ты прав. А в остальном – вряд ли. Да и деньги – ведь это не главное, если за душой что-то есть.

- Как же, рассказывай мне свои интеллигентские басни, – добродушно продолжал он. – Мечтать, копаться в прошлом, собирать всех вместе в разрушенном доме такие, как ты, мастаки.

- Если тебе эта идея не нравится, зачем ты пришел?

- Зачем, зачем... Решил посмотреть на вас всех. Ну вот хоть бы на Надю Сайкину. Вспомнить, как я пацаном становился в кухне на табурет и через окошко ванной комнаты за ней подглядывал. Хороша была баба, ох, хороша. Потом, когда я вырос, все похожих на нее искал.

- Ну знаешь, у тебя воспоминания почти как у Феллини. И что, нашел свою Надю Сайкину?

- Я все, что в жизни хотел, нашел, – выпятив нижнюю губу, бросил Колька. – Не то что вы все, чистюли. И вот, представь, жалко мне вас стало. Думаю, соберетесь, мои бывшие соседки, в нафантазированном тобой старом доме, а жрать-то нечего. Взгляни на стол – все на нем мое. Знай хулигана Кольку.

Только теперь я обратила внимание на обилие и изысканность дорогих закусок и напитков на столе, оттаяла и с благодарностью посмотрела на Кольку.

- Вот так-то лучше, – подмигнул он мне. – Одними твоими ностальгиями сыт не будешь, как и книжками твоими.

Но тут на нас зашикали и попросили замолчать. Все прислушивались к странному звуку, доносящемуся из соседних комнат. За закрытой большим ковром и заколоченной наглухо дверью в комнатах Ефремовых явно что-то происходило. Будто с той стороны топором отдирали прибитые доски. Голоса, доносившиеся оттуда, были мне знакомы. В изумлении я посмотрела на присутствующих.

- Не удивляйся, они тоже хотят к нам. Ты ведь приглашала всех. И живых, и умерших. Давайте поможем им, – предложила Евдокия Ивановна.

Все бросились к коврику. За считанные секунды он был сорван. Леша Ефремов поддел дверь ломиком. И, наконец, усилиями обеих сторон она раскрылась.

Зеленоватый свет заливал огромный зал с лепным потолком. Исчезли перегородки, разделявшие его на небольшие комнаты,

исчезла старая мебель Ефремовых, их сундуки, шкафы и кровати. Изумительной красоты паркет отражал свет хрустальной люстры. Я бросилась в распахнутую дверь и по навощенному паркету заскользила в глубь зала навстречу новоприбывшим. Меня чуть не сбила с ног Ада, спешившая к седовласой чете Носоновских, к своим бабушке и деду. Из-за их спин ее мать Яна уже протягивала к ней руки.

Вот и старик Касьянов с одутловатым от пьянства лицом прошел мимо нетвердыми шагами и остановился перед дверью, высматривая Кольку. Тот, заметив отца, некоторое время раздумывал, но потом тоже пошел ему навстречу. Мелькали полузабытые лица Русаковых, Павловых, Мукке и еще чьи-то, имена которых я уже не помнила. Они сливались в одно большое лицо, бесформенное и многоликое, давно соединившееся с моим представлением об этом доме.

Где-то там, над всеми, у самой люстры, я угадывала лица своих родителей. Казалось, лившийся от них свет помогал отыскивать в моей памяти все новые и новые картинки прошлого. Как в кинотеатре, они загорались на стене зала. Вот знаменитый артист Васильев, живший когда-то в квартире напротив, в беспмятстве, незадолго до своей смерти бродит по лестничной клетке в одном нижнем белье. Вот горбатенькая старая дева Сара Аркадьевна находит меня спящей между дверьми на мешках с дровами, осторожно берет на руки и несет в комнату, куда собираются все соседи, давно сбившиеся с ног в поисках пропавшей. И вдруг совсем неожиданно начинает строчить пулемет. Ничего подобного на моем веку не происходило. Пулемет бьет из окна башни нашего дома по бегущим к вокзалу людям с баулами и чемоданами. Кто эти люди, почему в них стреляют?

Я знала, что мой старший брат как-то после войны, забравшись на чердак, а оттуда в башню, обнаружил там ствол пулемета. Наверное, это тот самый...

— Я отвлеку вас, мадам, — раздался голос рядом со мной. — Не напрягайте память, вы меня никогда не знали. Я — Борух Кац, адвокат. Жил до войны в этой квартире. Ваша комната с окном во двор была детской моих дочерей. Спасибо, что всех нас собрали.

Передо мной вежливо раскланивался еврей средних лет в щеголеватом клетчатом костюме довоенного фасона.

— Так, значит, вы тоже... — я запнулась. Язык не поворачивался назвать его умершим.

— О, я прекрасно понимаю, что вы хотите спросить. Так вот, когда вы въехали в этот дом, я и вся моя семья уже несколько лет как лежали в Бикерниекском лесу. Мы не успели эва-

куироваться, да и сделать это было трудно – со многих при- вокзальных домов стреляли. Посмотрите, все мои стоят у окна.

Я повернула голову и встретилась глазами с девочкой лет шести с большим бантом на голове. Ее смуглое личико показалось мне знакомым. Увидев рядом вторую сестру, ростом чуть повыше и с родинкой на щеке, я сразу вспомнила свою любимую куклу, найденую в кладовке в куче старого хлама. Ну конечно, именно эти девочки приходили за ней, когда я лежала тяжело больная с высокой температурой. Но взять свою куклу они так и не решились, пошептавшись, оставили ее мне.

– Наша кукла ей пригодится, – сказала тогда младшая старшей, – она сможет еще долго играть с ней и сошьет ей новое платье, такое, как теперь носят.

Я подошла к ним и, поблагодарив за куклу, спросила, как им здесь нравится.

– Нравится, но очень много народу, совсем как в гетто. Не понимаю, как вы помещались в нашей квартире? – удивилась старшая.

Их мать, оглядывая зал и присутствующих критическим взглядом, тоже поражалась количеству соседей, раскланивавшихся со мной.

– Извините, мадам, – сказала она, обращаясь ко мне, – зачем вы зажгли эту шикарную дорогую люстру? Ни у вас, ни у нас никогда такой не было. Не советую в реальной жизни быть столь расточительной.

– Но сегодня особенный случай, – оправдывалась я. – Увидев ее в окне на улице Тербатас, я решила позаимствовать на одну ночь. Правда, красивая?

Пока все восхищались люстрой, я выскочила в темный коридор, где, как всегда, не горела лампочка, споткнулась о сундук Ефремовых и, прихрамывая, еле доплелась до кухни.

– Еще пару шагов, – уговаривала я себя, – и я у цели. Надо перевести дух.

Я присела в кухне на табуретку и стала размышлять о том, что, напрагивав всех в самые лучшие комнаты нашей квартиры, у меня не хватает решимости открыть дверь в мои собственные. Не потому, что в них никогда не было дорогой люстры, лепных потолков и паркетных полов. Что-то другое удерживало меня.

– Ну иди же, – говорила я себе. – Неужели не хочется посмотреть из окна столовой на знакомый перекресток, увидеть все тот же раскачивающийся на ветру фонарь и громыхавший когда-то по Мариинской трамвай? Или вспомнить, как свет его окон отражался причудливыми пятнами на стенах комнаты и прятал-



ся за зеркалом? А разве не заманчиво из наших комнат услышать семь звонков, с замиранием сердца броситься в темноту коридора, нащупать неподатливый замок и распахнуть входную дверь? И в нахлынувшем свете увидеть в проеме двери рыжеволосого парня...

Но я так и не решилась войти в свои комнаты. Я просто сидела на кухне среди кастрюль и тазов на некрашеной скамейке, которую когда-то смастерил дядя Фо. Так мы, дети, называли старшего Русакова. На самом деле его, кажется, звали Фомичем.

Я почувствовала, что устала. Годы, прожитые вне этого дома, будто навалились на меня всей тяжестью забот, ошибок, утрат. Я поняла, что никогда не смогу открыть свою дверь на четвертом этаже дома с эркером. Даже если заново его для себя выстрою. Пора было возвращаться к гостям.

— Где ты была? Я искала тебя повсюду, — бросилась ко мне Ольга Лазаревна. — Так много хочется тебе рассказать. Ты не поверишь, но по-настоящему я жила именно здесь, в этой перенаселенной коммуналке, а не в Бостоне, хотя там у меня есть все.

И она еще долго говорила мне о семье, о собственном доме на зеленой лужайке, о взрослых детях и своем одиночестве.

— Ты помнишь, какие необыкновенные пироги мы пекли к праздникам? Как собирались у Носоновских и спорили до хрипоты? А с каким вкусом Евдокия Ивановна рассказывала анекдоты?

Я помнила все. И вкус пирогов с капустой, испеченных в духовке старой дровяной плиты, и анекдоты Евдокии Ивановны, и многочисленных поклонников Нади Сайкиной, и нелепые политинформации Савелия Каллистратовича, и то, как мы всей квартирой выхаживали одинокую большую старушку Сару Аркадьевну. Но старый дом не отпускал меня, удерживая чем-то большим, чем воспоминания.

— Вырваться на волю и жить дальше. Вы, живые, не цените жизнь, — уже в зеленом зале Ефремовых шептал мне на ухо Борух Кац. — Если бы я выжил, я бы не цеплялся за этот дом, за прошлое. Я бы стал жить заново. Я понимаю, сейчас вам трудно и вас пугает будущее. Но я ведь знаю, вы пришли сюда для того, чтобы дом отпустил вас. Так я вас отпускаю! Слышите? А теперь идите и попрощайтесь со всеми.

Он поклонился мне, погасил люстру и быстро исчез. А я снова оказалась за столом между Адой и Колькой. О мои ноги терлась кошка, требуя угощения. Давно погас свет в окнах на противоположной стороне улицы. Даже неоновая реклама углового магазина перестала отражаться в зеркале и уже не вспыхивала

разноцветными искрами в хрустале стоящей на буфете вазы.

– Ну что же, пора расходиться, – загадочно улыбаясь, сказала Надя Сайкина. – Но прежде чем уйти, мы хотим вернуть тебе одну вещицу, которую ты когда-то потеряла в этой квартире. Помнишь, как мы все пытались тебя успокоить? Ты плакала так громко, что слышно было даже на лестничной клетке.

И она протянула мне коробочку. Ту самую, что накрыла салфеткой при моем появлении. В ней лежали мои первые детские часики, подаренные родителями ко дню рождения.

– А где же вы их нашли? – изумилась я. – Ведь тогда, кажется, весь дом обыскали.

– Да уж нашли, – хихикнул Колька. – В кухне за дрова завалились. Это я их туда бросил. Уж очень ты важничала.

Я поднесла часы к уху. Невероятно, но они тикали.

Как только за моей спиной погас свет в подъезде и я очутилась на ночной улице, ко мне в темноте метнулась мужская фигура.

– Ну наконец-то я дождался тебя, – узнала я голос мужа. – Только ты можешь выкидывать такие номера. Ты хоть представляешь, который сейчас час?

– Конечно, – и я протянула ему свои детские часики. – Послушай, они идут.

## ТЫСЯЧА ВТОРАЯ НОЧЬ

Он сделал еще один шаг, и нога, не найдя опоры, погрузилась в мягкую противную жижу.

Жижа смачно чавкнула, и страх, как упавшая за воротник пригоршня насекомых, быстро разбежался по телу. Он представил себе, что угодил ногою в широко разинутую пасть неведомой мерзкой живности, которая вполне могла обитать в этой глаз выколи темноте.

Он представил себе, как пасть удовлетворенно смыкается, лишая его ноги – как минимум до колена. Он представил себе дальнейшее развитие событий – адская боль, истечение кровью, заражение, общий сепсис, антонов огонь и белые тапочки (он все-таки подумал о паре тапочек), в которые его никто не обует, – и жизнь его, съжившись, как замерзающая птица, приготовилась умереть.

Впрочем, несмотря на мизансцену, разыгранную в театре фантазии, он резко опрокинулся на спину, выдернул уцелевшую ногу и стал быстро откатываться, как искушенный, не раз попадавший в трясину геолог. Сухой шершавый мох, вминаясь, похрустывал под ребрами.

Жижа недовольно пробурчала, словно голодный желудок, оставшийся без пищи. Он встал и осторожно пошел в сторону от трясины. Невысокое дерево, которое было частью всеобщей темноты, провело его по лицу колючей веткой. Огибая препятствие, он сорвал несколько хвоинок и пожевал. Во рту возник освежающий кислотовато-вяжущий привкус.

Ему представилось что-то зеленое.

Внезапно шорох под ногами прекратился, и вскоре он понял, что идет по твердой почве, подбивая носками ботинок мелкие камешки. Возможно, это была дорога. Он остановился и прислушался: ни звука.

Ему жутко, до боли в суставах, захотелось увидеть звезду над дорогой. Как в стихах, как в песне... Он поднял голову и посмотрел туда, где, несомненно, располагалось небо, которого теперь из-за темноты, в сущности, не было.

Там было темно. Как и везде вокруг. Ему примерещилось, послышалось, что прямо над ним, но довольно высоко пролетела

птица, хотя в состоянии тишины и темноты не произошло никаких перемен. Он подумал, что пребывание в темноте развивает какое-то особое чутье, которым наделены животные (в конце концов, ведь и человек – животное, организм, белковое тело), и это прибавило ему уверенности. Значит, птица пролетела. Ну, и что из того, что не разглядел. Это пока. Скоро глаза приучатся видеть в крошечной тьме.

В памяти стали всплывать астрономические названия. Они звучали значительно, как торжественная музыка: созвездие Гончих Псов, туманность Андромеды, Млечный путь... И на миг ему показалось даже, что он видит иголистое покалывание звезд в ночном пространстве, но только на миг и только показалось.

Вскоре он убедился, что в самом деле выбрался на дорогу, когда достиг другого ее края, за которым опять начиналась трава и высокие, хрустящие под ногами плотные заросли – судя по запаху – полыни.

Ему представилось что-то серебристое.

Дорога была извилистой. Он то и дело шарахался от обочины к середине. Сон сменялся явью, но дорога не кончалась. Однако он неуклонно шел по ней, твердо зная, что дорога обязательно должна куда-то привести, и не допуская, что темнота может изменить смыслы привычных понятий, например, той же дороги.

Впереди послышались звуки. Неожиданность, с которой они вытолкнули из ушей налипшие пробки тишины, неприятно удивила его и даже рассердила.

Он уже отвыкал слышать.

Ему представилось что-то блестящее, никелированное, резко бьющее в глаза отраженным светом.

На цыпочках, крадучись, стараясь не задеть ни один камешек, он двинулся в направлении звуков, даже не успев подумать о том, чем может обернуться для него возникающее одиночество. Хотя некоторое раздражение в душе все же возникло – он уже порядком привык к пустоте и темноте и теперь, по крайней мере, на данный момент, не хотел расставаться со своим обретением.

На обочине оказалась старуха. Конечно, он не видел ее, но по голосу и разговору, который она вела сама с собой, он быстро утвердился в своем предположении.

– Ноженьки мои притомились, иду и иду, странница вечная. В дому родном не нужна стала, ушла и в темноту попала. Ох, Господи, обмолвился бы кто словом, быть может, я уже по тому свету скитаюсь... Одно благо, что глаза мои поослепшие в темноте этой мягкой наотдыхаются. Все-то я их повысмотрела, пока за домом доглядывала, все-то я их повыплакала, когда невестка, стерва поганая, со свету сжить меня замыслила, на место мое крошечное

позарилась. И это в доме мужа моего безвременно ушедшего. Изгнала меня, да и сама теперь, наверно, не рада, небось, тоже в темнотице бродит, и некуда ей глаза свои жадные вперить. Воистину правы ученые: не бог создал людей, а впрямь они от обезьяны нечесанной проистекли. Из зверья вышли и в звериное обличьеворотились. Оттого и тьма снизошла, что Господу стало тошно смотреть на все это.

Он стоял и слушал, не особенно вслушиваясь, и представлял себе, что это его мать на обочине присела отдохнуть на шершавый от долгих ветров и дождей валун. И нестерпимо захотелось ему подойти к ней, сесть рядом и положить голову ей на колени, чтобы она потом провела по его жестким непослушным волосам своею милосердной рукой и прогнала загостившуюся в душе его тоску, которая черной кровью растеклась по телу, проникая в самые крошечные капилляры.

Расслабившись, он покачулся, и мелкий гравий пергаментно захрустел под ногами. Старуха, видимо, испугавшись, тут же приумолкла и затаила дыхание, и снова наступила черная тишина.

– Никак бродит кто-то рядом, – через некоторое время заговорила она. – Может, зверь какой ночной... А, может, и дневной... Дня-то теперь нет. Либо даже человек. Хотя откуда тут человеку взяться? Сколько бреду одна, никого не повстречала, будто повымерли все... Чудно как-то, – она снова прислушалась. – Опять шуршит... Старуха я, вроде и умирать пора, а все одно – страшно. Ишь, как все косточки пробрало. Эй, отзовись, есть тут кто?

– Есть, есть, бабушка, – стараясь придать голосу спокойную интонацию, ответил он.

– Поди ж ты, никак внучек отыскался, – захихикала старуха, и в ее голосе послышалось что-то вредное. – Ну, и чего тебе, внучек, занадобилось? Неужели жизнью старухиной потешиться надумал?

– Обрадовался, что человека на пути встрети, – уже совершенно безрадостно сказал он и сделал несколько шагов по направлению к ней.

– Не подходи, – было слышно, как старуха отскочила. – Может, ты разбойник какой, почем я знаю.

– А в темноте все равно не разберешь, бабуся, – раздраженно ответил он.

– То-то и оно, что не разберешь. Так что шагай, мил человек, своей дорогой, не мешай мне, старой, плутать... Твое дело – молодое.

– Я-то пойду, – разозлился он. – А не страшно тебе, старая, вот так одной оставаться?

– Да уж лучше так, чем незнамо с кем тяготу делить, – вздохнула старуха, уже понимая, что он не опасен, но упрямо стоя на своем. – Шагай вперед, у тебя быстрее получится, а там, глядишь, и я доковыляю.

– Ну, прощай. Не зря, видно, невестка тебя не жаловала. Если придется встретиться, я тебя по голосу узнаю.

– Забудь мой голос, меня забудь, – вновь испугалась старуха.

– Ох, и трусливая же ты, бабка... Ладно, пошел...

– Вот и славно, вот и молодец, внучек... – донеслось ему в спину.  
– Все от греха подальше.

Он шел и думал, что в темноте люди наверняка быстро одичают и забудут, как искать путь друг к другу.

Дорога вдруг стала гладкой, он даже не заметил, когда эта перемена произошла – быстро шел. Он наклонился, потрогал пальцами – асфальт, и в душе очнулась надежда, что он добрался до города. Хотя, вдумавшись, он не смог объяснить себе, какие приятные переживания могут ожидать его в городе. Может, на пустыре безопаснее? “Старухиними страхами заразился,” – про себя усмехнулся он.

Плечом почувствовав преграду, он ощупал ее рукой и понял, что достиг стены дома. Воспоминание о доме сразу же напомнило ему о его бродячем состоянии, в мышцах и костях отозвалась усталость, и в надежде обрести уют и покой он стал обшаривать стену в поисках двери или хотя бы окна. Стена длилась долго, но на всем ее протяжении – как бы он ни привставал на цыпочки – ему не удавалось дотянуться до оконного карниза, если таковые вообще были на этой странной стене. Он подумал, что это, наверное, здание какого-то пакгауза, а тогда окна внизу не нужны.

Наощупь повернув за угол здания, он натолкнулся на что-то мягкое, которое неожиданно вскрикнуло женским голосом. В нос бурно ударил запах обильной косметики.

“Вот и первый контакт с местными аборигенами,” – подумалось ему, когда отшатнулся.

– Полегче, приятель, видать, опытный – только подошел и сразу хватаешься за то, что нужно. Не зря говорят, что коты в темноте хорошо видят, – у женщины был насмешливый хрипловатый голос.

– С удовольствием стал бы котом, если они способны видеть в таком мраке, – в тон ей ответил он. – Прими мой пардон. Можно подумать, я видел, за что хвататься.

– Нельзя и подумать, согласна. Но поверь моему опыту, у рук есть свое особое чутье. В любой темноте они ориентируются так же хорошо, как коты и кошки, – она забренчала чем-то, голос заметно повеселел.

Он догадался – открыла сумочку, которая наверняка висела у нее на плече, и вынула что-то из женских аксессуаров: помаду или зеркальце. Хотя с зеркальцем он, конечно, хватил через край – на черта во мраке зеркальце?

– Ты обитаешь в этом городе? – спросил он.

– Господь с тобой, милый, – ответила она искаженным тоном. (Он

понял: красит губы. Фантастика!) – А почему ты так уверен, что это город?

– Дома строят в городах.

– А ты уверен, что это дом? Я обошла его кругом и не нащупала ни одной двери. Какое-то странное сооружение.

– Дальше не ходила?

– А зачем? – хмыкнула она. – Примостилась на углу, где меньше поддувает, и жду.

– Чего? Рассвета? – ему захотелось, чтобы она произнесла то, что он уже понял про нее.

– Тебя, например, – смешанный запах духов и пота придвинулся к нему. – А свет мне совсем ни к чему, без него, знаешь ли, даже удобнее.

“Видимо, хороша до озноба,” – подумал он.

Ему представилось что-то ярко-красное.

– Ну, и много тут прошло до меня?

– Не знаю. Для меня ты – первый. Я недавно стою.

Он рассмеялся и подошел к ней. Взял за плечи.

– Чего смеешься? – не обидевшись, спросила она.

– Ты сказала, что я – первый, таким тоном, как девочка, которая еще никому не отдавалась. Ну, прямо свадебная ночь, – он смеялся и чувствовал, как в нем оживает уже подзабытое ощущение близости женщины.

Она медленно и опытно провела руками по его телу. Его бросило в жар.

– Подходяще, – уже слегка заклокотавшим голосом подвела она итоги осмотра.

– Можно подумать, – у тебя есть варианты, – самодовольно ответил он, плотнее прижимаясь к ней. “Она, конечно, немолода, быть может, и старше меня. Впрочем, в темноте все это почти теряет смысл”, – подумал он, целуя ее. Из ее рта пахло голодом.

Ему представилось что-то пепельно-серое.

– Куда мы пойдем? – торопливо спросил он.

– А ты занятный тип, – вздрагивая, засмеялась она. – Куда здесь можно пойти? В пшеничные поля? В притихшие дубравы? Или снимем номер в гостинице? Если, конечно, ее удастся найти. Подрежь крылья своей фантазии, дорогой.

– Так что – прямо здесь?

– Ты боишься, что у нас ничего не получится или что кто-то включит свет в самый неподходящий момент? И то, и другое – зря, – деловито говорила она, попутно освобождая его от одежды.

Дальнейшее сумасшествие ощущений представилось автокатастрофой, когда скомканное страхом тело, теряя жизнь, бьется в искореженной столкновением машине, которая неуклюже катится

по бугристому склону. Задыхась, он жадно хватал воздух губами, как голодный отрывает от неожиданно добытого каравая огромные куски и глотает, не жуя. Его удивило, что все происходит, словно это впервые.

Ему представилось что-то оранжевое, закатное.

– Подожди, – шепнула она, откидываясь на спину и не выпуская его из себя. – Еще немного.

В темноте раздался звук упавшего камня. Он отскочил, поспешно приводя себя в порядок.

– Ты пуглив, как кузнечик, – глубоко дыша, произнесла она с легким разочарованием.

– Зато ты – человек бесстрашной профессии, – огрызнулся он.

– Вот-вот, получил свое, а теперь и обхвать можно. Ты еще почитай мне курс лекций о здоровом образе жизни, – холодным тоном откликнулась она из мрака, опять разделившего их. – Господи, ну, почему кругом одно дерьмо? Свинья ты неблагодарная.

– Это еще неизвестно, кто кого благодарить должен, – резанул он.

– Ах, ты, оказывается, из любви к ближнему, – протянула она. – Плонула я б на тебя, да слюны жалко, да и злиться не люблю.

В темноте повторился звук упавшего камня. Они притихли.

– Слышала? – окликнул он ее. Он понял, что несколько перебрал, и заговорил первым.

– Ну и что? – сердито ответила она. – Там кто-то чем-то занимается. А мне какое дело?

Он махнул рукой и пошел на звуки. В темноте кто-то бросал камни.

– Кто здесь? – окликнул он.

– Я, – исчерпывающе ответил детский голос.

– Кто – я? Ты – мальчик или девочка?

– Мальчик, – ответил голос.

– А что ты здесь делаешь?

– Строю себе дом, – спокойно ответил мальчик. – А ты где, дядя?

– Здесь, рядом, в темноте. А тебе не страшно?

– Было страшно, – по-стариковски вздохнул мальчик. – А теперь привык. Все равно – темно.

Он подумал, как это страшно – ребенку одному оставаться в темноте.

Ему представилось что-то белое.

– А из чего ты строишь дом?

– Я нашел большую кучу кирпичей, – пояснил мальчик.

– Давай я тебе помогу, – предложил он.

– Давай, иди сюда.

Он обрадовался, что может хоть чем-то заняться в опустошающей душу темноте. Он жутко устал просто так скитаться, спотыкаясь



брести навстречу неизвестно чему.

Протянув руку, он дотронулся до мальчика, погладил его по голове. Мальчишка был невысокий, судя по росту и голосу, лет восьми-девяти. Почувствовав прикосновение, мальчишка подался к нему и прижался к его руке.

– Дядя, а ты не уйдешь теперь? – жалобно пробормотал малыш сквозь слезы. – Я уже ничего не боялся, но, теперь, если ты пропадешь, мне опять станет страшно.

– Ну, что ты, маленький, я никуда не уйду, мы построим хороший крепкий дом и будем жить в нем.

Ему представилось что-то розовое.

– Как три поросенка, – смешно проговорил мальчик.

Он расхохотался.

– И может быть, дождемся, что когда-нибудь станет светло, – с надеждой продолжил мальчик и схватил его за руку.

Он вздрогнул от того, что острые длинные ногти чувствительно впились в кожу.

– Однако ты и ногти отрастил, – усмехнулся он. – Хоть бы обгрыз.

Мальчик убрал руку и простодушно ответил:

– Их очень трудно грызть. Они твердые.

Он ощупал ладони мальчика, и страх, смешанный с отвращением, наполнил его сердце: это были настоящие когти. Мальчик одичал. “Не это главное, – старался успокоить он себя. – Мы вместе – вот что гораздо важнее. Он – живой человеческий детеныш. Он не научился говорить, и ему нужен дом, он же не сказал про логово или нору... Так и будем рядом, спасая друг друга...”

Они принялись строить дом. Оказалось, что на большом пространстве были свалены кучи кирпичей.

Откуда-то подул колючий ветер. Горсти стремительной, холодной, как снежная крупа, пыли несколько раз неприятно царапнули по лицу. Мальчик начал сдавленно, как котенок, чихать и сказал:

– Нам нужно торопиться, чтобы мы могли спрятаться, если ветер станет сильным.

В голосе мальчика прозвучала похоронная старческая осторожность.

Он хватал по несколько кирпичей и спешно укладывал стенкой, поперек, чтобы возводимая преграда была устойчивее, выравнивал кирпичи наощупь, ударами кулака или напирая плечом.

Ветер заметно усилился.

– Как дует, – встревоженно произнес мальчик. – Мне даже идти не надо, ветер сам меня несет, только ноги успевай переставлять.

По счастливому совпадению они стали возводить стену таким образом, что она как раз защищала от ветра. Он толкнул мальчика

вниз, под стену, и крикнул:

– Ложись и жди меня. За кирпичами больше не ходи, а то тебя еще куда-нибудь сдует.

Становилось холоднее.

– Не уходи, – захныкал мальчик. Или давай я пойду с тобой. Я уже большой.

– Нет, ты будешь мне мешать. Я быстро добегу до склада. Может быть, там все-таки есть вход. Или хоть какое-то окно, – размышляя вслух, он удивился тому, что вспомнил о складе. – А потом я вернусь за тобой.

– До какого склада? Там нет никакого склада, – закричал ребенок, цепко хватая его за рукав. – Я не отпущу тебя.

– Вот наказание, ты даже не представляешь себе, в какую сторону я пойду. А там есть склад, – в сильном раздражении ответил он и мысленно похвалил себя за то, что никогда не хотел иметь детей.

– Ты меня оставишь, – начал по-настоящему плакать мальчик, – или не найдешь дорогу обратно. Я не хочу, чтобы ты заблудился.

– Тихо, – заорал он, перекрывая шум ветра. – Что за бунт на корабле, тебя никогда не учили слушаться старших? Значит, будешь учиться сейчас, в трудных погодных условиях, приближенных к боевым.

Он постарался придать своему голосу оттенок веселости, чтобы хоть как-то успокоить цепкого мальчишку.

– Значит, так – сейчас ты залегаешь под стену, как медведь в берлогу, и начинаешь сосать лапу, но не засыпаешь, как медведь, потому что, возвращаясь, я буду окликать тебя в темноте. Ты прислушайся – и ответишь мне. Может быть, я приду не один, – совершенно неожиданно для себя добавил он.

– А с кем? – вроде бы немного успокоившись, спросил мальчишка.

– Там есть одна тетя.

– Красивая? – вдруг спросил мальчик.

Вопрос озадачил его, и он представил себе что-то цвета мореной древесины.

– Конечно, – соврал он, совершенно не понимая зачем.

– А ты откуда знаешь? – ехидно поинтересовался мальчик, по-прежнему не отпуская его руку.

– Не твоего ума дело, – он сгреб мальчишечьи волосы в горсть, потом взял его двумя пальцами за худой затылок, как берут котенка, и с силой опустил вниз, под стену. – А ты сиди здесь. Даже если я потеряюсь, то ты не пропадешь. Защита от ветра надежная.

– Нет, вы не потеряетесь, – с затаенной радостью произнес мальчик. – Я все время буду окликать вас. Я очень-очень буду

ждать вас. А когда вы придете, мы будем играть в дом. Тетя будет моя мама, – мальчишка так произнес это “мама”, что сердце замерло и в горле что-то защекотало, – ты будешь папа, а я ваш сынок. Хорошо?

– Конечно, малыш, – вздохнул он. – Конечно.

“Она, вероятно, будет крайне рада такой перспективе,” – с усмешкой подумал он о женщине.

Он сделал несколько шагов, и густой порыв ветра сразу завернул его в шершавый рулон пыли. Тьма летела во тьму. Решительность его несколько поугасла, когда он подумал, что не очень-то представляет себе, в какую сторону податься. Затеряться в этой пыльной пустоте – пара пустяков, малыш прав, а за стеной все-таки было уютно, ну, хотя бы – укромно. Мурашки легкого страха пробежали по телу. Но возвращаться было неловко, мальчишка мог посчитать его трусом.

Через несколько минут он почувствовал, что сила ветра начинает убывать, словно кто-то перевел движок ветродуя на меньшие обороты. Уже можно было идти не напрягаясь. По его оценке, он должен был достичь здания, если, конечно, выбрал верное направление. Но кругом было пусто и беззвучно, если не считать шума ветра. Он попробовал припомнить, как шел на звук падающих камней, когда нашел мальчишку, но что толку было вспоминать, когда нет никаких ориентиров. Интуиция подсказала, что нужно принять влево. Он подчинился, и, как ни странно, вскоре ударился о стену. Все-таки нашел!

Он стал продвигаться вдоль стены, окликаая женщину.

– Чего разорался? – услышал он уже знакомый шершавый голос. – Нарушаешь покой мирных граждан, – и все же по голосу он понял, что она обрадовалась.

– Ты где?

– Нашла нишу в стене, забилась в нее, как таракан, и жду, когда перестанет дуть. Холодно стало, как бы снег не обрушился.

Он добрался до ниши и встал рядом:

– Ветер стихает. Ты не нашла никакой двери?

– И не искала, – хмыкнула она. – Как твое путешествие? Кто это там разбрасывал камни?

– Скорее, собирал, – он придвинулся ближе, с удовольствием ощутив прикосновение ее плеча. – Мальчишка. Мы с ним начали строить дом. Там много кирпичей. Пойдем, он ждет нас. Я обещал ему привести маму.

Она дернулась, наклонилась, похоже, сняла туфлю и стала встряхивать из нее попавший туда камешек.

– Ну, ты даешь, приятель... Какая из меня, к черту, мамаша? Вот тебя я еще могу приглубить, а ребенка... Что я ему скажу? Я никогда не занималась с детьми. Самый молодойенький у меня был лет

четырнадцать.

– Дура ты, – разозлился он. – Неужели пару ласковых слов не придумаешь? Пойми, и в самой черной темноте надо жить по-человечески, иначе – конец, вырождение. Попробуем все начать сначала, как будто ни у меня, ни у тебя, ни у него нет прошлого. Придумаем себе дом, построим его, сочиним семью, попробуем представить себе любовь, а потом постараемся поверить в то, что мы придумали.

– Ну, ты прямо, как поп. После такой проповеди только зарыдать покаянно. Очень уж складно воду льешь...

– А ты все отшучиваешься... Уже полжизни прошутила, – он сердился на нее, потому что к своей предыдущей тираде относился серьезно.

Она поняла.

– Ладно, мыслитель, пойдем, если ты так настаиваешь. Придется научиться петь детские песни и гладить пацанчика по головке, – она захихикала. – Чудеса... Я – и вдруг – мамаша... Чудеса... А ты знаешь детские песни?

– Вспомним. Или придумаем, – незамедлительно откликнулся он.

– А впрочем, ты, быть может, прав. В темноте образовалось столько свободного времени, что можно все придумать. Длинную сказку тысячи второй ночи. Которая никогда не кончится.

– Сказка, что ли? – переспросил он.

– Что сказка, что ночь. Как хочешь – так и понимай. Ничего не кончится, – странно сказала она, и у него вдруг мурашки побежали по спине.

Ему на короткое мгновение представилось что-то очень черное, чернее этой темноты вокруг.

– Пойдем, – продолжила она. – С тобой, пожалуй, лучше, чем одной. А присутствие мальчишки – это, пожалуй, жертва, которую придется принести за то, что рядом будешь ты. В жизни ничего не бывает бесплатно.

Теперь ему казалось, что он лучше представляет себе, куда нужно идти. Ветер почти утих, и сразу же стало теплее. Он взял ее за руку, и они пошли.

Скоро они услышали тонкий детский голосок, который дрожа выводил: “Па-а-па-а, ма-а-ма-а, где-е вы-ы...”

– Уже вошел в роль, – неопределенно хмыкнула она. – Он хоть не урод?

– Господи, какая тебе разница? Я же тебя не видел, может, и ты уродина, – резко ответил он. Он уже понял, что она не уйдет, и решил грубоватыми репликами держать дистанцию.

– Ты чудовищный хам, – сказала она, но, похоже, совсем не обиделась.

– Может быть, мы все уже стали уродами, – продолжил он. – Красота, совершенство форм теперь не имеет значения. Главной становится суть наша, содержание. А кто из нас может похвастаться, что он обладает красивой душой? Искалеченные душонки...

– Все равно – хам, – ответила женщина.

– Слушай, забудь прежние замашки. В темноте – другие критерии: воспринимать придется на слух, наощупь. Этому еще надо научиться.

– Наощупь? Погоди, – она остановилась. – Не откликайся пока. Может быть, повторим упражнение? А то вдруг у мальчишки бессонница, так ты ж стесняться при нем начнешь...

Он подумал, что, если уж он предложил ей стать частью его новой случайно возникшей семьи, придется принимать во внимание и ее желания.

Ему представилось что-то болотное, цвета рыжевато-зеленой засохшей тины.

Он подумал, что вокруг нет ничего, кроме пустоты и пыли, внутренне содрогнулся, но согласился.

– Папа, а ты привел маму? – чувствовалось, что мальчишка дрожит от нетерпения.

– Привет, сынок, – насмешливо сказала женщина.

Мальчик сорвался с места, безошибочно нашел ее во тьме и, видимо, прижался, неразборчиво шепча что-то свое.

– Как хорошо, что папа нашел тебя, – с каким-то взрослым вздохом произнес он после паузы. – Мне было очень плохо без вас.

– Однако ты совершенно не причесан, малыш, – смущенно сказала она. – За внешним видом надо следить всегда, даже в такой темноте.

Она щелкнула замком сумки, вынула расческу, и он, стоя рядом, видел, как искрится расческа, пробегая по волосам мальчика. Это были первые импульсы света, которые он увидел за долгое время темноты.

Ему представилось что-то синее.

Мальчишка зевнул:

– Как хочется спать! Мама, ты расскажешь мне сказку?

Женщина, похоже, опешила. Повисла тягостная пауза, в которой был слышен лишь ровный негромкий гул, приходивший откуда-то издалека. Несколько раздраженным голосом она заметила:

– Такой большой мальчик, как ты, мог бы обойтись и без сказки.

Но потом добавила:

– Так и быть, укладывайся, а я пока подумаю, пофантазирую.

– Хорошо, – радостно согласился мальчик и начал зачем-то

перекладывать кирпичи.

Ему даже представилось, как у мальчишки от удовольствия заблестели глаза. Как спелые ягоды черешни. Женщина подошла к нему, ударила локтем в бок и пробурчала:

– Сосватал, провокатор... Мама, сказка... Хуже всего входить в роль по ходу спектакля.

– Господи, ты что – книжек никогда не читала?

– Да ты знаешь, сколько лет назад я была маленькой, – запальчиво начала она, но потом спохватилась. – Не волнуйся, грамотная. Слушай, а мне не придется кормить его грудью? Может, в темноте все переменялось? У меня на этот счет особых восторгов не намечается.

– Что ты, мамочка, я уже большой. Это ведь совсем маленьких грудью кормят, – донеслось из темноты.

Они одновременно расхохотались.

– Ты что, забыла, ведь ты меня уже кормила, – продолжил мальчик.

Они резко прервали смех.

– Дурдом во мраке, – буркнула она.

– Мама, иди ко мне. А папа пусть дальше строит дом. Пока ветер снова не начался.

– А ты молодец, малыш, – сказала женщина. – Все расставил по местам. Всем занятие нашел. Ну, ладно, где ты там притаился? Сейчас я буду рассказывать тебе сказку, – она зацокала каблукми и вдруг охнула, – ну и постелька, эти кирпичи такие острые, что тут и платье можно разодрать в два счета, и то, что под платьем.

Он хихикнул.

– Так вот слушай. Высоко-высоко в горах, в одном селении жили-были старик со старухой, был у них дом – не дом, а так – крыша над головой, сад – не сад, а так – деревьев пяток, и коза – не коза, а так – скотина рогатая, – начала женщина. – Кстати, папочка, а почему ты не приступаешь к исполнению своих обязанностей? Добраивай хижину, нам хочется тепла и уюта, верно, малыш?

– Верно, – согласился мальчик. – Рассказывай дальше...

– Этим скво прежде всего подавай хижину, – проворчал он.

– У старика со старухой хоть крыша над головой была, а у нас одни голые кирпичи под задом, – сказала женщина.

– Смотри, как быстро освоилась... Уже начались семейные сцены. Ты, случаем, не актриса?

– В моей профессии актерские данные имеют первостепенное значение, – с долей гордости произнесла она.

– Мама, а кем ты работаешь?

– Знаешь, малыш, – замялась она. – Ты сейчас не поймешь всего...

– Чего там не поймет, он у нас смышленный, – иронизировал он. –

Мама работает в сфере обслуживания населения, слышал про такую?

– Конечно, – ответил мальчик. – Это магазины, бани, мастерские... Мама, ты продавщица?

– Да, да, парень, ты верно сказал, – поддакнул он.

– Вот зараза, – сквозь зубы процедила женщина.

– Продавщицей хорошо работать, – мечтательно сказал мальчик.

- У одной моей знакомой девочки мама тоже работает продавщицей – она ей из своего магазина всегда приносила разные вкусности. А ты что продаешь?

– Ну, убил, – засмеялся он.

– Он еще ржет. Втравил меня и доволен. Вали-ка лучше за кирпичами, – взорвалась женщина. – А ты быстро дослушивай сказку и спать, а все остальное обсудим завтра.

– А когда будет завтра?

– Когда ты проснешься.

– А будет так же темно?

– Наверно. Черт его знает.

– Мама, чертыхаться нехорошо.

– Ты глянь – яйцо курицу учит.

– Хорошо, не буду, – изменившимся голосом сказал мальчик, – только не называй себя курицей, мне это не нравится. Ты – моя любимая мама.

– Ладно, ладно, мой маленький, – сдавленным голосом ответила женщина.

Он хотел съязвить по поводу того, как она чуть не прослезилась, но мальчишка говорил с такой пронзительной интонацией, что у него самого запершило в горле. Он обрадованно подумал, что эта встреча в крошечной тьме – счастливый случай, который уберезет их, позволит сохранить островки человечности в сужающихся душах, заполняемых пустой чернотой.

Ему представилось что-то расплывчато-желтое, как свет галогенных фар в густом вечернем тумане.

– Яблони в саду были такие старые, как и старик со старухой, и яблоки на них росли мелкие и невзрачные, – продолжила женщина.

Он направился к куче кирпичей.

– И вот однажды осенью на одной из яблонь созрело огромное красивое румяное яблоко... – слышал он за спиной удаляющийся голос.

Когда он вернулся, прижимая к груди стопку кирпичей, она удовлетворенно сообщила:

– Уснул.

– Поздравляю тебя с первым успехом на ниве материнства, – иронически откликнулся он, сваливая кирпичи.

– Не грохочи, язва, разбудишь ребенка.

– И хижину строй, и не грохочи, – вяло ответил он.

– Что-то меня в сон потянуло, – зевнула она. – Давай отложим до утра строительные работы. Иди ко мне.

– Насчет утра это ты тонко подметила. Но нам придется впасть в летаргический сон, чтобы проспять до рассвета, если он когда-то наступит. Спокойного сна, – игнорируя ее зов, сказал он и вновь направился за кирпичами. Сейчас, когда первый голод был утолен, что-то в ней начало раздражать его.

– Ну и ладно, будешь капризничать – останешься без сладкого.

Набирая кирпичи, он расслышал приближающиеся шаркающие шаги. Он замер. Ему представилось, что он растворяется в темноте и сам становится темнотой.

Оказалось, что это ковыляет та самая старуха, которая нелюбезно обошлась с ним на дороге.

– Куда иду, откуда иду, не ведаю. Ни приюта, ни пристанища. Одна безмерная темнота. И для чего в немощи моей еще жизнь теплится? Забрал бы Господь душу мою, в чистилище все ж светлее... Да, видно, грех свой искупить должна, помучиться. Мы все, старые, повинны, что на свет произвели таких зверей, которые жизнь до тьмы низвели. Знамо, в нас тот порок свое начало брал... Ох, и худо же мне...

– Привет, бабуля. Вот и снова мы повстречались.

Старуха остановилась и смолкла, как пропала.

– Что, опять испугалась?

Темнота молчала.

– Не разбойник я и не Господь бог. И жизнь твоя, и душа твоя мне без надобности. Но если хочешь приюта, чтоб не в одиночестве время коротать, прошу к нашему, так сказать, шалашу. Нас уже трое, с тобой будет четверо.

– Ты ли это, мил человек? – наконец подала голос старуха. – Не с тобою ли я на дороге беседовала?

– Со мной, со мной... И не беседовала, а прогнала меня прочь.

– Прости старую, бес попутал. Страх велик, а сердце маленькое, и то на одном волоске колышется. Чую я, не грабитель ты окаянный, а так же, как и я, бедствуешь в темноте вселенской. Куда зовешь-то? – в старухином голосе появились заискивающие нотки.

– Недалеко здесь. Убежище себе из кирпичей строим.

– А кто еще там есть?

– Женщина и мальчик, – он не решился сказать: жена и сын.

– Вот грех какой тяжкий, и дитя одно по свету мыкается. Воистину конец света настал. И старые, и малые – все как сироты. Ну, что ж, веди меня. Может, хоть среди людей кончину свою приму.

Он положил в стопку еще один кирпич и сказал:

– Иди за мной, на звук моих шагов.



Они добрались до возведенной стены, он сложил из кирпичей два возвышения. Его никто не окликнул. "Наверное, уснули", – подумал он.

– Бабуся, иди сюда. Садись. Давай, протяни руку.

Его ладонь нашла в черном воздухе сухую слабую кисть.

Ему представилось что-то цвета картофельной шелухи.

– Спасибо тебе, голубчик, поклон земной, что старую приветил. Бог милостив. Тебе зачтется.

– Конечно, – усмехнулся он. – Вот только зачетную книжку я с собой не захватил.

Он растянулся на своем жестком ложе и почти сразу же уснул под шелест старухино голоса.

Проснулся он, как ему почудилось, от звона разбитого стекла. Оказалось, плакал мальчик, издавая пронзительные и очень неприятные звуки.

– Мамочка, почему же не настало утро? Неужели так и будет все время темно? Как же я буду играть?

– Так и будешь играть, в темноте, – ворчливо откликнулась женщина. – Можно подумать, до встречи с нами ты бродил по залитым солнцем дугам.

– А я хочу посмотреть на твою улыбку. Мне нравится, когда ты улыбаешься, – сквозь слезы пробасил мальчик.

– Можно подумать, ты видел мою улыбку, – продолжала ворчать женщина. – Можно подумать, я без ума от счастья, что внезапно стала матерью.

– Потому и темнота обрушилась, что матери детей своих забвению предают, – не очень разборчиво пробормотала старуха.

Ему показалось, что она жует.

– Господи, – испуганно сказала женщина. – Еще одно привидение приблудилось.

– Кто это там? – встревоженно, по-птичьи вскрикнул мальчик. – Я боюсь. Мама, сядь ближе.

– Это наша бабушка. Она нашлась, пока вы спали, – прежним ироническим тоном произнес он. – Всем доброе утро. Или что-то другое, но доброе. Нужно будет выдумать слово.

– Какая еще бабушка? – злобно спросила женщина. – Ты богадельню решил устроить?

– Вот так и невестка моя меня ненавидела. А ты-то за что окрысилась? Съем я тебя, что ли?

– Кто тебя знает.

В это мгновение воздух донес звук, похожий на шелчок. Где-то далеко или высоко что-то произошло. Все умолкли в ожидании неминуемого. И, быть может, непоправимого.

– Смотрите, – крикнул мальчик. – Смотрите вверх. Там появилась звезда.

Он поднял голову и увидел светлую точку, которая увеличивалась в размерах.

– На нас летит, – сказала женщина.

– Вот и конец света, – заключила старуха.

– Не каркай, ворона, – сказал он, удивившись, что произносит слова без привычного раздражения – ему стало безразлично, что теперь произойдет: существование настолько утратило свой изначальный смысл, что, пока доберешься до нового, утратишь суть свою, ради которой и затевал поиск смысла.

На огромной скорости на них летел слабо светящийся шар, он уже в несколько раз превосходил полную луну.

Внезапно шар остановился, закачался на месте, словно над ним раскрылся парашют. И тут шар вспыхнул сильным и очень странным пульсирующим светом, словно по нему ползали скопища белых мерцающих червячков.

Он опустил взгляд и ужас объял его сердце.

Старуха сидела на кирпичах, оскалив полубеззубый рот и прижав к груди клеенчатую кошелку, из которой торчала обкусанная человечья нога со свисающими желтоватыми лохмотьями кожи.

Мальчик схватил женщину за платье, которое казалось белым.

Он с испугом посмотрел на маленькую смуглую когтистую ладонь ребенка с перепонками между пальцев, как у лягушки.

Женщина сидела опустив голову, и он вмещал взглядом и ее круглую лысину на макушке, похожую на тонзуру римского священника. Она подняла голову, они встретились глазами, и он увидел, как глаза ее наполняются страхом.

И тут она закричала, корча свое мужеподобное лицо, закричала горловым, безобразным криком, словно увидела чудовище.

И, словно эхо, такой же крик родился в нем.

Не давая себе отчета, он вскочил и побежал прочь в наступающую темноту, потому что все погубивший проклятый светящийся шар рассыпался на множество мелких гаснущих осколков, оставлявших после себя дым.

Он бежал, крича от ужаса и радости, что нигде не было зеркал и он не видел себя.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

Жизнь, непоправимей серых осенних листьев, страшнее, чем миг пробуждения, выталкивающий тебя из теплого, тихого мрака навстречу какой-то нервной ответственности и невозможности выбрать: остаться или вернуться. Белое солнце встало над четко-рельефным телом синего города. Снова. Там, где кончается крыша, рождаются крупные буквы вывески или рекламы: “Выбирайте свою дорогу к смерти”. И на какое-то время мир заполняет ясность, четко-застывшая ясность. Ведь если выбор сделан, больше не надо думать, мучиться, примеряя яркие вывески, просто все это станет ровной (пусть тебя не смущают обрывы и повороты - это обычное дело) верной дорогой к смерти. (Зачем было так суетиться?)

\*\*\*

Я возвращаю вам чистый белый лист.

Вы дали мне его, Вы сказали: пиши. А я, как зверь, замученный быстрым, безжалостным ветром, а я с завязанными глазами, я - мышь, я боюсь серых больших котов. Я не могу вынести взгляда, взгляда, в котором сквозит тупая, животная ясность жизни. Жизни, которую Вы им дали. Я... Я не умею делать красивых, решительных жестов. Я не знаю, хорошо это или плохо, и вы видите - я снова боюсь. Помните того ребенка, он так нерешительно вошел в комнату тогда, еще не зная, кто он и что от него ждут. Неправда, я не хочу видеть, что из него вырастет. У меня нет смелости даже на маленький мысленный бунт. Но одно я могу. Я улыбаюсь непонимающе и протягиваю обратно белый лист. Неважно, что я думаю, неважно, что я чувствую, как боюсь. Я умею улыбаться, когда страшно. И я верну его вам. Чистым.

\*\*\*

Я хочу спрятаться в ворох прохладных листьев.  
Снова стать маленькой и бессмертной.  
Потому что в детстве время не имеет границы.  
И кажется постоянным, как огромные дворовые деревья.  
И все впереди - этот дом, уходящий в небо.  
И улицы, и деревья в небо уходят тоже.  
Все потому, что в детстве до тебя ничего еще не было.  
И ничего не будет, кроме синего, большого и хорошего.

Это только попытка сказать, попытка связать свою жизнь с каменной плотью улиц. Прибить себя к деревянным оконным крестам. Чтобы руки вросли в них, как в землю вырастают прутья. Вырастают ноги, чтобы земля никогда им не дала над собою подняться больше. Дело не в том, что я не хочу летать. Просто мне тошно от состояния невесомости. Все, что мне нужно, - вырваться прочь навсегда или почувствовать под ногами твердую почву.

Так, чтобы тысячи тонких корешков, вырастая из моих ступней, захватывали рыхлые комочки земли, прорастая в нее и становясь ее частью. Так, чтобы чувствовать собою каждое движение ее большого, тяжелого тела.

Чтобы потом, когда я захочу улететь, у меня было, от чего оттолкнуться.

\*\*\*

Вы приносите свой дар белому небу, но что в ваших маленьких, нестойких руках, скажите, вы можете принести?

Самое светлое, как в картинах нидерландских художников, это изображение мира за окном - зимой.

Посмотри, запомни, отвернись.

Я впустила в свой мир музыку, и она вытеснила оттуда меня. И я неловко, быстро прохожу мимо окна, пытаясь взглянуть неза метно и взять там что-то для себя. Но она приказывает мне вернуться. И в своей протухшей, теплой комнате я изучаю ее перипетии и слушаю ее властные призывания и признания. Я вспоминаю то истинное и белое, что мне мельком удалось увидеть, и чувствую, как кто-то держит меня за руку. И я смиряюсь.

Но я знаю то что-то внутри меня. Я ожидаю от этого страшного, неясного, но очень тяжелого знака вопроса внутри чего-то особенного, я в него верю. Это как сложенная бумажка у тебя в руке, ты не знаешь, что там. Это может быть и конец, и возможность выхода. Однажды, когда будет суeta и шум, я отойду и прислонившись к холодному углу стены в стороне, разверну ее.

Я успею?

Да, конечно.

А дальше?

\*\*\*

Я не хочу возвращаться туда, откуда пришла.  
Я не хочу видеть свет в темных окнах без стекол.  
В этих картонных коробках я долго жила,  
Я не хочу этих улиц привычных и теплых.  
Я не хочу, чтобы ровный коричневый страх  
Путь мне чертил, чтобы я никуда не сбивалась.  
Я так боюсь ничего не увидеть в глазах.  
Я так боюсь среди лишних дорог потеряться.  
Я не хочу, чтобы синяя дырка вверху  
Так беззащитно-зло надо мною смеялась.  
Мой не увиденный сон: я по яркому полю бегу...  
Я не могу... не должна... не хочу возвращаться.

\*\*\*

Что я могу больше,  
Чем быть живой?  
Что я могу дать, кроме  
своего дыхания?  
Которым я могу согреть мир.  
Холодный, черный мир, чтобы он оттаял.  
Во что я могу верить больше,  
чем в жизнь?  
Сейчас.  
Сегодня.



*Тамара Широchenkova*

## СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

*Посвящается доктору Григорию  
Степановичу Бируку, моему  
спасителю*

Детство мое и юность почти ничем меня не примечательны, хотя хорошо себя помню лет с трех. Разве что и в детстве, и в юности, да и позднее мне трудно было молчать, когда разговор заходил о семейных корнях. Дома наказывали помалкивать, так как были мы отнюдь не “кристально пролетарского происхождения”. Дедушка по матери имел лесную биржу, был строительным подрядчиком в Новгороде.

“Господин Великий Новгород” был в свое время северной столицей Руси. При сорока тысячах жителей в городе и ближайших окрестностях было до сорока церквей и монастырей.

Дедушку я не знала, он умер до

моего рождения. Похоронен был на престижном кладбище Антониева монастыря при духовной семинарии. Я часто ходила к нему на могилу. Помню большой памятник черного гранита с надписью “Новоженков Никита”, а отчество забыла. Сыновья его промотали наследство еще до революции. Бабушка должна была на какое-то время уйти в богадельню, где с утра до вечера чистила на всю братию картошку и слепла.

Дед по отцу жил в Тверской губернии, неподалеку от Осташкова, в селе Ельцы. Имел дом с лавкой, кожевенный заводик, а при нем еще один дом, мельницу, землю, которую отдавал в аренду.

Там, в отцовских краях, родилась

и я в 1918 году, вскоре после нашего отъезда из Новгорода.

Село было большое, с церковью, школой, больницей, даже какой-то осевшей там театральной труппой. Родители мои уехали к деду в надежде прокормиться в селе в голодное время революции, да и в лавку свою дед задумал определить моего отца, а кожевенный завод предназначался старшему сыну (еще один сын подался а Питер, одна дочь стала учительницей, другая — врачом). Отцу, шеголоу и красавцу, лавка не приглянулась, да и крестьяне его не полюбили. Заглянут в лавку, а если там мой отец (мама спускалась в лавку не часто, ведь на ней был весь дом), тут же уходили. Не помню, откуда родом была бабушка по отцу, но помнится, что было в ней много барства; и кухарка и другая прислуга частенько испытывали на себе ее нрав. И маме при ней было не легко. Да и с отцом моим у мамы, как я понимаю теперь, особой любви не было. Девушкой мама была очень красива, изящная, с осиной талией, с голубыми, как небо в тайге, глазами. И бесприданницей она не была. Уже с рождения стали собирать ей приданое: золотые браслеты, броши, серьги, часы, постельное белье голландского полотна, ковры, одежду, даже мебель. Как родилась дочь, так стал дед готовить ее к замужеству. А тут и завидная партия подоспела. Выдали. Маме было 18 лет.

Вот о дедах моих я и должна была молчать, хотя об одном из них в краеведческом музее Твери был даже стенд: в голодный 1921 год он щедро раздавал свою муку окрестным крестьянам. Деда моего потом

экспроприировали, дом не то забрали, не то он сам отдал его новой власти под среднюю школу, выговорив себе право оставить в нем свою семью. В середине 1920-х годов мы с мамой вернулись в Новгород, а отец остался при родителях. Моя новгородская бабушка тоже была в Ельцах. Вернувшись в Новгород, она жила с нами. Похоронили бабушку на Рождественском кладбище. Дед загодя купил на кладбище Антониева монастыря место и себе и ей. Но к моменту бабушкиной смерти кладбище это было уже снесено.

Из тех ранних лет хорошо помню свои занятия музыкой на дому у учительницы. Своего инструмента у нас не было, мама копила на пианино, а у моей новгородской подружки Ани Перельгиной дома стоял клавесин. Музицировала я, к сожалению, недолго, предпочитала уличные игры. Но как убедить маму отказаться от музыки, ведь она так хотела видеть меня за инструментом. Придумала. Была у учительницы собачка, ласковая, безобидная, ко мне относилась с нежностью. Когда я приходила на урок и уходила, она почему-то лизала мне пятки. Вот как-то, возвращаясь с урока, я натерла глаза до слез, а встревоженной маме говорю, что укусила меня за пятку учительская собака. Говорю и плачу, плачу, жалею себя, ах как могло быть больно! Мама сказала: “Хватит ходить к ней! Вот купим инструмент, будет она к нам ходить!” Я “победила”!

Часто вспоминаю нашу кошку. Вот бежит она по коридору со своим котенком. А вот и я: стою на четвереньках, изображаю не то льва, не

то собаку, иду и рычу на них. Кошка прикрывает телом котенка, я встаю и ухожу. На следующее утро стою под деревом у входа в дом. Вдруг сверху прямо мне на голову пикирует наша кошка, раздирает мне когтями в кровь голову и лицо. Мама говорит: “Поделом тебе, ты, наверное, ее дразнила”. Я оправдываюсь, мол, и не дразнила я ее вовсе, сумасшедшая она. Кошачьи царапины долго не заживали.

Помню рождественские праздники, особенно елку у богатых торговцев Соловьевых в Ельцах. На огромной елке в гостинной замысловатые игрушки, бусы, фрукты, конфеты, разноцветные лампочки и почему-то флажки разных стран. Встречает гостей хозяйский сын “Лешечка”, мой ровесник, красивый мальчик с “киской”. Мы, девочки, в белых платьях, с широкой лентой вместо пояса, с бантом в волосах. Почти всегда я была “царицей бала”, Лешечка в играх выбирал меня, а его родители, бабушка и дедушка считали, что лучшей пары и быть не может. Все бы хорошо, но мое имя! Тамара! Никогда оно мне не нравилось. И досталось оно мне случайно. Шел отец регистрировать меня в загс и по дороге встретил знакомого священника. Рассказал, куда идет, что жена хочет назвать дочку Наташей, а ему что-то не нравится. Священник вдруг и говорит: “Знаешь, у меня на прошлой неделе тоже родилась дочка. Я ее назвал Тамарой. Записывай и ты свою Тамарой! Будут у тебя и у меня Тамары”. Из Тамар я знаю только грузинскую царицу. Но ведь она грузинка, смуглая, а я светлая. И царственного во мне ничего не было.

Еще не могу забыть, как часто меня ставили в угол, иногда даже за ухо туда отводили. Наверняка я заслуживала наказания. Вмешивалась в разговоры взрослых, приводила в смущение и маму, и маминых клиентов (мама хорошо шила, шила все — от тонкого маркетизета до ватных пальто), раскрывая при них мамину или папину оценку их вкуса; однажды стояла на карауле, пока ребята воровали вишни в саду маминой подруги и были застигнуты за этим делом; на торжественном венчании в церкви папиной сестры, когда меня подняли на руки, чтобы я поцеловала молодых, я вместо этого, выпившись в мужнину модную бородку клинышком, повторяла как молитву: “Не хочу, чтоб забирал Коку, не хочу, чтоб забирал Коку!”, — и добавила еще, что счастья с ним Коке не будет. Заслуживала наказания, заслуживала... Но не любила попреков, особенно если при этом витало имя моего брата Виктора, он умер восемнадцати лет от эпидемического менингита, когда мне было около двух лет. По словам родственников, Виктор был очень способным и умным юношей, владел немецким, французским, английским языками и даже латинским и греческим. Как рассказывали мне те же родственники, мама после его смерти несколько дней причитала: “Ну почему он, а не эта!?”.

Шести лет я пошла в школу, уже в Новгороде. Хорошо помню свою первую учительницу, с гладко причесанными волосами и тугим узлом на затылке, всегда в накрахмаленном светлом коломянковом халате. Я старалась ей подражать в манерах, пыталась распрямить свои во-



лосы, завивавшиеся вопреки моему желанию. Сынишку ее, моего же возраста, звали Ильичок. И я мечтала: если у меня когда-нибудь будет мальчик, обязательно назову его Ильичком.

После первой ступени (четыре класса) перешла в школу водников, куда меня устроила моя двоюродная сестра (учительница), в этой школе в шестых-седьмых классах был внедрен прогрессивный “Дальтон-план” — бригадный метод обучения. Мы, ученики, были от него в восторге. Ведь как хорошо: заданный урок учит только один ученик из бригады (обычно — бригадир), а полученную им отметку ставят всем. Наш бригадир, правда, не всегда бывал на высоте, нередко получал тройку или даже двойку. Тогда наш классный художник рисовал волны, на волнах качается лодка, в ней сидит вся наша бригада (фамилии написаны на лбу), а на корме лодки водружен флажок с отметкой “3” или “2”. При таком методе, конечно, знаний было мало, а еще политехнизация: по “столярке” целый учебный год делали табуретку, по “слесарке” на следующий год выпиливали напильником ключ. Ходили даже в литейный цех, где пытались создать из земли опоку (литейную форму).

В восьмом классе из-за “Дальтон-плана” родители перевели меня в другую школу, впрочем вскоре “Дальтон-план”, как не оправдавший себя, был изъят из употребления.

В новой школе математику вела учительница из “бывших”, похожая, в моем представлении, и по манерам, и по одежде на классную даму из института благородных девиц: пенсне, юбка до пола, накрахмален-

ная блузка с черным бантом под подбородком. Классы были смешанные (мальчики и девочки вместе), ей это явно претило, но...

В математике я не блистала, жаль, что поздно встретила нашу “классную даму”, зато отличалась на уроках литературного чтения, когда нужно было вслух читать современных авторов. Учительница сажала меня за свой стол, я читала и должна была по ходу чтения заменять “неприличные” слова “приличными”. А “неприличные”, с точки зрения нашей учительницы литературы, да и моей тоже, встречались в тех произведениях довольно часто. Сама я любила Чарскую, зачитывалась ею и, читая, рыдала взхлеб.

Одолела девятый класс, получила свидетельство об окончании средней школы (в том же 1934 г. была введена уже десятилетка). Что делать дальше? Все мои двоюродные сестры, за исключением одной (врач), были учительницами и уговаривали меня не изменять семейной профессии. Однако в детстве я играла с бабушкой не только в “учительницу”, но и в “доктора”. В педагогический математика нужна, а у меня по ней знания... И тут, перед самым выпуском, приезжает к нам в школу представитель из ЛГИМЗа (Ленинградский Государственный институт медицинских знаний, позднее — 2-й Ленинградский медицинский институт). Потом узнала, что подобные представители разъезжали тогда по многим городам, чтобы обеспечить первый “Сталинский набор” — семьсот человек на лечебный и санитарный факультеты. Агитатор очень красноречиво рассказывает о гуманной профессии врача, и я принимаю ре-

шение. Но примут ли? Ведь мне еще нет шестнадцати! Попытаюсь!

Собираю документы: свидетельство об окончании школы есть, метрика есть, а вот справка о социальном происхождении — по ней, по настоящей, меня не примут — “буржуазия”. Но нашелся родственник, который заявил, что я нахожусь на его социальном иждивении, а он — работает на Колпинском заводе (под Ленинградом), пролетарий. Достали на этом основании подходящую справку. Но вот возраст — год рождения не подделаешь в метрике...

Приезжаю в Ленинград к двоюродной сестре (учительница), прошу ее одеть меня “посOLIDнее”. (Я носила еще детские вещи — купленные в Торгсине на бабушкины золотые серьги с подвесками и золотую цепочку к часам, которые мама пристегивала к корсажу). Из гардероба моей сестры появились туфли на высоком каблуке, правда, большего размера, необыкновенная, очень элегантная кофточка, модная шляпка, длинная юбка, дамская сумочка. Все это выглядело на мне красиво, но солидности не прибавляло. К тому же я была очень худенькая, и, чтобы казаться полнее, поддела под платье шаровары. Запаслась для предстоящего разговора в приемной комиссии “умными словами”, вроде “вакантное место” и т.п.

Сестра посмотрела на меня, покачала головой и сказала: “Ну, Тамуся, в мое время детей в институт не принимали”.

Прихожу в приемную комиссию. Сидят двое молодых людей, не то врачи, не то студенты старших курсов. Подаю документы. Они их тщательно изучают, потом говорят: “Де-

вочка! Вы не ошиблись адресом? Здесь не детский сад, а медицинский институт.” Все потеряно, но отвечаю достойно: “Мал золотник, да дорог!” Они рассмеялись, а потом, слышу, переговариваются. Мол, поступала к ним когда-то такая же девочка, да училась так хорошо, что даже в праздник Великой Октябрьской революции ее портрет вывесили на административном здании института.

Комиссию я одолела, экзамены сдала, конкурс прошла.

Я — студентка, но для многих все еще девочка. С первых же дней занятий взял на себя чуть ли не опекунство надо мной и моей подругой Тосей Дмитриевой, тоже из Новгорода, наш преподаватель анатомии Василий Александрович Кальберг, после войны — профессор кафедры анатомии Рижского медицинского института, а позднее — его ректор. Чуть что, сразу говорил: “Я напишу маме, я позвоню маме, я вызову маму”. Я даже в кино не могла пойти без его разрешения, прямо как в лагере. А я вовсе не была баловницей. И училась хорошо, память у меня была такая, что на экзаменах все время сдерживала себя, чтобы не шпарить прочитанный текст строчка в строчку. Но Василий Александрович строгости со мной не умерял, “опекунство” его стало меня донимать. И вот однажды он пригласил меня в Кировский (Маринский) театр на “Гугенотов” Мейербера. Вместе с нами был и его сын Игорь, студент какого-то технического института. Я пошла. Но был как раз канун Пасхи, и я весь спектакль мучилась своим грехопадением. В детстве мы

с мамой и бабушкой часто ходили в церковь. Я знала много молитв, помнила церковную службу. И мать и бабушка были очень религиозны, ни в пионеры, ни в комсомол не позволяли мне вступать, а тут театр в такие дни...

С тяжелым сердцем пошла я в антракте с Игорем в фойе прогуляться и стала ему жаловаться на деспотизм отца. А Игорь, очевидно, сказал потом отцу, что тот перебирает в строгостях со мной. Наутро, перед началом занятий, Василий Александрович говорит служительнице: “Тетья Паша! Принесите розги.” — “А кого сечь будете?” — “Тамару. Она детей против родителей восстанавливает”. Сечь он меня, конечно, не стал, но и опекунства не оставил. Я даже из своего медицинско-го уйти хотела, звали меня в физкультурный им. Лесгафта, обещали невиданные перспективы — я хорошо бегала. Летнюю сессию я не пошла сдавать, с гордостью заявив Василию Александровичу, что ни анатомия, ни гистология мне больше не нужны. Он не стал меня ни отговаривать, ни уговаривать, только строго посмотрел и сказал: “Вот, Тамара! Срок — три дня, чтоб сдать оба предмета, и только на “5”!” Я как будто ждала этого приказа. Как нашководившая первоклассница, села за учебники. Приказ был выполнен. Заодно я немного повзрослела, только немного.

Училась я все пять лет хорошо. Любила на экзаменах отвечать первой, но в этом у меня был соперник — Эдуард Эверт, эстонец, рабфаковец, лет на пять старше меня. Он, чтобы ответить первым, приходил на экзамен чуть ли не к от-

крытию институтских дверей. Потом станет у профессорского кабинета и держит рукой дверь, чтобы никто не вошел раньше него. Был он парень высокий, дверь придерживал рукой на уровне моей головы, и я, пригнувшись, часто прошмыгивала на экзамен все-таки первой. Но в одном он меня обошел — на истмате-диамате, где я получила свою единственную за все годы обучения четверку. Наш профессор по диалектическому материализму, эстонец, довольно плохо владевший русским языком (“солдат шапки без, шел улице чрез”), сказал, ставя мне эту четверку: “Снаете, тefушка, фи все хорошо и прафильно отфечали, но фи еще такая молотая, что философски мислить фам еще трутно. Когда по-трастете, фи смошете таше меня саменить”. Я услышала тогда в его голосе столько иронии... Вот странный человек! Как будто, чтобы получить пятерку, нужно иметь не 18 лет, а по крайней мере — 25! А Эверт получил по истмату пятерку.

У Эверта мы с Тосей (на редкость красивая девушка с застывшим лицом) всегда одалживали трешки. Его старший брат, директор одной из ленинградских школ, помогал ему материально, деньги у него водились, и когда кончалась наша с Тосей стипендия, не было родительских переводов и следующие рубли ожидалось не скоро, он всегда выручал нас, хотя постоянно спрашивал: “Та сачем тебе три рубля? Опять на театр, на конфеты?” — “Давай, давай, не тяни вольнку!” Тося была “мотовкой”. В нашем общем с ней “хозяйстве” кассиром была я и одалживать приходилось тоже мне.

На четвертом курсе как-то неза-

метно “приклеился” ко мне пятикурсник Алеша Чернух. Учился он на все “10”. О нем профессора говорили, что такие студенты случаются раз в сто лет. Прекрасно пел под свою мандолину украинские песни (он украинец, из-под Полтавы), обладал незаурядными драматическими способностями, недаром дружил с известным актером Николаем Черкасовым. Высокий, страшно худой, всегда с “лейкой” через плечо. Гулять мы ходили на Невский проспект. Одну сторону его облюбовали “женатики”, другую — “холостяки”. Он всегда тянул на сторону “женатиков”, полагая, видимо, что это наше будущее, я же упрямо тащила его на противоположную, не допуская тогда и мысли о замужестве, хотя большинство студентов старались “пристроиться” до окончания института, еще до распределения. Ведь мама, вероятно, вспоминая свое нелегкое замужество, часто говорила: “Не спеши замуж, была бы шея — хомут найдется”. Я глупо слушалась, а парень Алеша был отличный и чувствва у него были серьезные. Вспоминаю одну из последних с ним прогулок по Невскому в компании с Н.Черкасовым. Тот, прослышав, что я собираюсь стать хирургом, все шутил: “Ну, доктор, когда у меня вырастут мозоли, никого, кроме Вас, к ним не подпущу”. Я смеялась. Алеша шел рядом. Не получив моего согласия выйти за него замуж, он после окончания института уехал в научную экспедицию в Башкирию.

Потом, уже после войны, мы с ним часто виделись в Риге, куда он приезжал на конференции и повидался со мной, или в Москве, ку-

да я ежегодно ездила на пленумы ЦОЛПКА (Центральный ордена Ленина институт переливания крови) или в связи с моей диссертацией. Он принимал активное участие в моей научной работе, помогал советами, устраивал высокого уровня консультации, в частности с академиком Энгельгардом.

Алеша Чернух стал видным ученым, академиком, вице-президентом Академии медицинских наук СССР. Среди тридцати семи подписей под его некрологом в 1982 г. имена Брежнева, Андропова, академиков Блохина, Чазова, Овчинникова, Скрыбина.

Вот уже выпускной бал. Намечается обязательный концерт. Кого пригласить в качестве конферансье? Я предлагаю Аркадию Райкина, широкой публике тогда еще неизвестного, но мне знакомого по рассказам друзей-новгородцев из других институтов. Члены выпускной комиссии на меня цыкнули, но я продолжаю убеждать их. Уговорила. Аркадий Исаакович не посрамил меня, но и мы сыграли какую-то роль в его популярности в те годы. Можно представить, как шел по Ленинграду хвалебный слух о замечательном конферансье, распушенный шестьюстами медиками да таким же количеством гостей выпускного бала. Об этом мы с А.Райкиным вспоминали году в 1948 в самолете Адлер-Москва, где случайно оказались вместе. Там же, в самолете, я познакомилась со знаменитым диктором Юрием Левитаном. Сажу у прохода в боковом кресле, рядом на полке покоится подаренный мне шикарный букет каких-то бархатных южных цветов, смотрю в иллюминатор

на провожающих. Раннее осеннее утро, в самолете по ногам гуляет ветер. Я сбрасываю туфли и пытаюсь спрятать под себя ноги. Вдруг чувствую, что-то теплое, пушистое ложится на ноги. Что такое? Смотрю, у моего кресла стоит какой-то мужчина, это он снял с себя пуловер и накинул его мне на ноги. Я, естественно, пуловер его сбросила. А мужчина, взяв свой чемоданчик, уселся на него в проходе и стал заводить беседу. Рассказывал он об атомной бомбе, механизме ее действия, даже вытащил блокнотик и стал рисовать в нем какую-то схему. Завязался разговор. Вдруг он стал неудержимо зевать. Я сказала обычную для такой ситуации фразу: “Конечно, в приятном обществе приятно бывает и позевать”. Он извинился и стал оправдываться: “Это профессиональное — подходит время сна после напряженной утренней смены”. И попросил отгадать, какая у него специальность. С третьей попытки (после картежника и жулика) я сказала: “Диктор?” — “А у Вас есть знакомые дикторы?” — “Нет, но вот, например, Юрий Левитан, кто его не знает?” Мужчина встает с чемоданчика, подает мне руку и говорит: “Будем знакомы! Юрий Борисович Левитан”. Я не сразу поверила: и голос не тот, и обличие... Но он паспорт достает. Я все еще в сомнении: “Да мало ли Левитанов!” Тогда на свет появляется удостоверение Комитета по радиовещанию. Пришлось поверить. Во время нашей “перепалки” все время “встревал” Райкин, требуя, чтобы я выбросила цветы, убеждал меня, что такие вот именно цветы приносят несчастье. Цветы я выбросить отка-

залась, может, и напрасно. В такой вот компании приземлились в Москве, а там вывалились из самолета в “молоко” — страшный туман. Взявсь за руки, добрались до аэровокзала и там узнали, что самолет на Ригу откладывается. Райкин исчез, а Юрий Борисович, как верный рыцарь, просидел со мной несколько часов в аэропорту, а когда я решила добираться до Риги поездом, не оставил свою спутницу и пришел проводить меня на вокзал. Он часто приезжал в Ригу, всегда предупреждал телеграммой или по телефону о приезде, мы поздравляли друг друга с праздниками, днем рождения. С возрастом он сильно изменился, я как-то не узнавала в нем того, прежнего молодого Левитана, видется стали все реже и реже.

Вернусь в институт. Я — молодой врач. Что делать дальше? Идти в аспирантуру (“красный” диплом давал такую возможность) или приступать к работе? Наш руководитель СНО (студенческое научное общество), хирург, доцент Линденбаум (блестящий лектор, лицом — “Квазимодо”) уговаривал меня, если в этом году места на кафедре хирургии не будет, пойти на год работать, а в следующем году вернуться. Переговорив с “Квазимодо”, я рассталась с ним, а потом встретила проф. К.Л.Хилова, зав. кафедрой ухо-горло-нос. Он пригласил меня к себе в аспиранты. Я согласилась. Небольшой опыт в этой области у меня был. В нашем научном обществе специальностью “ухо-горло-нос” руководил знаменитый фониатр П. Л. Мануйлов. Однажды, на очередном занятии СНО, привезли

тяжелобольного: сознание затемненное, температура 40°, сильные головные боли и боли в левом ухе. Диагноз: острый мастоидит (воспаление среднего уха и сосцевидного отростка). Показана срочная операция — трепанация сосцевидного отростка. Доктор Мануйлов доверил ее мне, а сам даже рук мыть не стал. Начинаю. Вскрываю переднюю стенку отростка и вижу — о ужас! Пульсирующее синее образование — предлагающий венозный синус. Малейшее неверное движение могло привести к смертельному кровотечению, поскольку переливание крови тогда широко еще не применялось. Готовиться к операции доктору было уже поздно, он стоял за моей спиной и шепотом диктовал мне ход движения. Все обошлось благополучно. А еще на те же занятия СНО приехал к доктору Мануйлову известный тенор Мариинского театра Н. К. Печковский. У него в “горлышке” сидит косточка, а ему надо вечером петь в “Трубадуре”. Вот П. Л. Мануйлов смотрит его горло, а я ныряю глазами туда же. Косточку удалили, а мне Печковский дал контрамарку на все спектакли с его участием. Это был фурор. В общем, с ухо-горло-носом я была “на ты”. Вероятно, проф. Хиллов был наслышан о моей причастности к его специальности. Тут же сели, обсудили с ним план диссертации и разошлись до следующей встречи, а следующая встреча... не состоялась. Уже уходя из института домой, опять встретила “Квазимодо”. Узнав о моем “предательстве”, он посмотрел на меня глазами “Отелло” и сказал: “Как? Променять хирургию на специальность по маленьким дырочкам?”

Я покраснела и тут же сказала: “Нет! Еду хирургом в Новгород!”

Итак, я дома, но уже не на каникулах, которые всегда были прекрасны, особенно благодаря маме и бабушке, не особенно утруждавших меня работой по дому — пусть наша студентка отдохнет. Отдых я начинала с пляжа на Волхове, заканчивала на прогулках в Новгородском детинце (кремле) или там же на танцах. И летняя компания у меня всегда была интересная. В Ленинграде я дружила с новгородцами, а в Новгороде со студентами-археологами или искусствоведами, приезжавшими сюда на практику из Москвы и Ленинграда. В мои небольшие тогда обязанности по дому входило глажение белья и уборка квартиры. Я глажу, а меня уже ждут. Стоят под окнами нашего дома и вызывают: “Тома, Томушка, Томушка-голубушка, ой, напрасно ходят к ней ребята, ой, напрасно дуют утюги” (утюги тогда были на углях, их нужно было время от времени раздувать).

Теперь по утрам не компания меня ждет, а работа. Направление я получила в Новгородскую районную больницу, хирургом. Там предложили сразу же приступить к работе, хотя мне полагался после института месяц отпуска. Но было лето, многие врачи ушли отдыхать, и с 1 июля 1939 года я уже в палатах. Было страшно. Днем еще ничего, всегда можно проконсультироваться, а ночью, на дежурстве, когда я одна... Впрочем, и ночью можно было обратиться за помощью. Напротив больницы жил Павел Григорьевич Шатунов, опытейший хирург, если что, я должна была его вызывать. А вдруг вызову напрасно, а вдруг не вызо-

ву, когда необходимо? Каждое де-журство было пыткой. При каждом шуме проезжавшей машины подбежала к окну: “скорая” или так, мимо? Помимо отсутствия опыта, часто просто физических сил не хватало, чтобы помочь больному. Вот привозят больного с вывихом тазобедренного сустава. Что делать — знаю, а вправить не удастся — руки слабые. Или ассистирую на тяжелой продолжительной операции: от усталости и напряжения падаю в обморок... Хотя бы скорее направили в Ленинград на обещанные курсы трансфузиологии (переливания крови)! Когда же вернутся из отпусков врачи?

Но тут наступило роковое 7 сентября 1939 года, перевернувшее все мои дальнейшие планы, да и всю мою жизнь.

Я ведь военнообязанная. Накануне я получаю из военкомата повестку — явиться по такому-то адресу для прохождения военных сборов. Явилась, представилась командиру части полковнику Красильникову. Направили меня в медсанчасть, где встретили очень приветливо, предложили пару дней осмотреться, а потом начинать. Не успела я познакомиться с полковой медициной, как через несколько дней вызывает меня командир полка и говорит, что в военкомате перепутали, что надлежит мне отправиться в другую часть. И тут же стал меня уговаривать: “Доктор! Мы так уже привыкли к Вам, Вы нам очень нравитесь. Стоит ли уходить от нас? Ведь Вам служить-то каких-нибудь пару недель. Оставайтесь, в военкомате я договорюсь. А мы Вас обучим верховой езде”. И тут же добарил мне

блестящие шпоры, как он сказал, “серебряные”.

Осталась. Стала брать “уроки верховой езды”. На первом же занятии лошадь сразу почувствовала во мне слабого ездока, помчала галопом, свернула с дороги в лес, на ветвях которого осталось много моих волос.

По прошествии может быть недели полк вдруг получает приказ о передислокации в направлении эстонской границы. Надвигались грозные события. Нашим новым местом назначения были Сланцы.

30 ноября 1939 года началась советско-финская война, и наша дивизия должна была направиться на Петрозаводское направление, откуда поступали сведения о жестоких боях, большом числе раненых и обмороженных. Мы с Танюшей, моим военфельдшером, много говорили об этом.

Среди дивизионных врачей, с которыми я довольно быстро познакомилась, был и Алексей Алексеевич Хрыпов, начальник санитарной службы отдельного разведывательного батальона. Лет на 12 меня старше. Кадровый армейский врач, из известной петербургской семьи. В свое время он окончил мой же институт, это нас как-то сближало. И вот он сказал начальнику санитарной службы дивизии, что не может допустить, чтобы меня, женщину, отправили в петрозаводскую мясорубку, попросил обменять наши должности и взял с начсандива слово в случае, если разведбат тоже отправят прямо на фронт, тот переведет меня в дивизионный госпиталь, а на мое место придет врача-мужчину.

Обмен совершился. Он уехал на фронт, откуда вскоре пришло изве-

стие, что Танюша моя убита. Сам Хрыпов заболел на фронте открытой формой туберкулеза и после окончания “микровойны” вернулся в Ленинград. После большой войны я попыталась навестить его там, нашла дом, но встреча не состоялась — он лежал в больнице, а туда мне идти не хотелось. Его домработница узнала меня по фотокарточке, которую он каким-то образом сумел раздобыть из моего институтского личного дела (на ней мне пятнадцать лет!) и держал на прикроватном столике, а когда уходил в больницу, всегда брал ее с собой и водружал на тумбочку. “Как иконку, — сказала домработница и добавила как бы в пояснение, — он Вас очень любил”. Все-таки плохо, что я не пошла к нему в больницу, это меня долго мучило..

Итак, я военврач III ранга, начальник санитарной службы ОРБ (отдельного разведывательного батальона). У меня в штате фельдшер, два санитары. Мы продолжаем оставаться в Сланцах.

Там я встретила Захария Павловича Фирсова, сыгравшего в дальнейшем немалую роль в моей жизни. Он тоже был из нашего института, работал на кафедре физкультуры, преподавал медицинский контроль. Он был старше меня лет на десять, рост — под два метра, что давало ему право на двойной армейский паек. Детство и юность провел в Ейске, там же учился. Мобилизованный, был направлен к нам в дивизию врачом, но, кроме касторки, других медикаментов уже не помнил, и деятельность его как врача ограничивалась выписыванием только этого препарата.

Там же, в Сланцах, в клубе военного городка, мы встречали Новый 1940 год. Тут он заговорил о больших чувствах, о необходимости многое менять в жизни. Рассказал, что у него, послушного сына, был очень властный отец, который заставил его жениться на страшно ревнивой армянке. И хоть у них двое детей, жизнь не сложилась, прочность семьи висит на волоске. Семейную проблему он собирался решать просто: развод, раздел детей. Было понятно, куда он клонит. Но я была далека от мысли строить какие-то серьезные планы на совместную с ним жизнь. Стал он выкидывать тогда колени, демонстрировать страсть, катался в нательной рубашке по снегу и т.д. “Что ж Вы, Тамара Николаевна, — говорили мне его коллеги, — издеваетесь над человеком..”

Так в “страсти” и “издевательстве” прошли январь и половина февраля. И вот опять пришел приказ о передислокации: на Карельский перешеек, по слухам, еще более страшный, чем Петрозаводское направление.

Через штабных связистов я узнала, что от начальника санслужбы дивизии была моему командиру батальона телефонограмма об откомандировании меня в распоряжение начальника дивизионного госпиталя. Жду. Проходит день, другой, мой комбат молчит. Что делать? Чувствую, что собирается он мне строить какие-то козни. Иду к нему сама и спрашиваю: “Вы получили обо мне телефонограмму?” — “Откуда известно?” — “Слухом земля полнится”. — “Да, получил. Но не спешите, доктор. Вот завтра придет



Вам замена. Поедем потом вместе до Ленинграда, а там я Вас отпущу”.

Через несколько дней погрузили наш батальон в поезд. Едем. И я, и моя замена. Комбат плетет какую-то чепуху: “В Вашем присутствии командиры каждый день подшивают чистые подворотнички, не выражаются, у них уже выработалось галантное обращение с вами, они даже стараются перешеголять в этом друг друга. И он сам, майор Смехнов, — разве я не чувствую? — очень предупредителен ко мне”.

Предвижу недоброе: обманывает комбат начсандива, увозит меня с собой. Что делать? Выброситься из поезда? Нет, нет, нет, так бесславно не кончу свою только-только начавшуюся жизнь!

Предчувствия меня не обманули. Поезд остановился в глухом лесу. Мороз — 40-45 градусов. Хорошо хоть, что у меня, как и у всех, меховой полушубок, валенки. Из-за большой копны волос армейская шапка на голову не налезала, ношу неуставной шерстяной берет. На поясе ремень с кобурой, в кобуре пистолет.

Поставили палатку для медсанчасти. Оборудуют землянку для командиров. Для мужчин нары, а мне занавеской выгораживают часть землянки, ставят туда железную кровать. Устраивают “буржуйку”, которую топят почти непрерывно, можно и воды на ней согреть, но умываемся мы почему-то снегом. С дрожью вспоминаю, как “благоустройствали” “туалет” — ровик; огородили его ветками в 3/4 человеческого роста. И все равно ровик сохранил свою особенность: кто на-

ходился внутри его — шедших поверху не видел, а проходящие мимо свободно могли просматривать ровик насквозь. Для меня это была пытка. Я максимально долго старалась им не пользоваться, но однажды при мысли о нем и от долгого воздержания потеряла сознание. Очнувшись, разревелась. Всклипывая, как могла объяснила пожилому комиссару батальона, что со мной. Тогда он взял надо мною шефство: нашел необжитую землянку, каждый раз провожал меня туда, останавливал у входа, с пистолетом наготове обследовал землянку, потом запускал меня внутрь, а сам оставался “на часах” у входа. Комиссар тоже был по-своему несчастлив, у него в батальоне я была единственной женщиной. Лишние хлопоты, хотя он и не подавал виду. Даже комбат Смехнов уже, кажется, сожалел, что украл меня, но “фронтowego ухаживания” не оставил.

Батальон наш в разведку не отправляют. Тут как раз заболевает мой похититель — воспаление легких. Назначают лечение, а он начинает проявлять командирские капризы: “Порошки только из Ваших рук, других — не подпущу”. На капризы больного, командира, “галантного кавалера”, не поддаюсь. Мстила я ему, как только могла, конечно, по мелочам.

Все время вспоминаю о доме. Шли дни, прошел месяц, а оттуда — ни весточки, хотя почта работала довольно исправно. Жду писем, жду, нет их. Комбат запретил почтальону с его фразой “пишут, дорогая докторша, пишут” даже показываться мне на глаза. А я маме писала исправно. Вот позднее стихотворное

переложение одного из таких писем, сделанное доктором Н.А.Титовым не без помощи А.Твардовского:

*Здравствуй, милая мама.  
Шлю, родная, привет.  
Самый пламенный, самый,  
самый — слов даже нет.  
Знаешь, милая мама,  
Ты б меня поняла.  
Я жива и здорова,  
Я — какая была.*

*Впрочем, ты, дорогая,  
Разберешься сама.  
Я как раз отдыхаю,  
Добралась до письма.*

*Тихо-тихо в землянке,  
Лишь почувствуешь тут,  
Как тяжелые танки  
По дороге пройдут.*

*Столик, ящик на ящик,  
Вата, бинт под рукой.  
Вот и весь, на образчик,  
Мой приемный покой.*

*На печурке кирпичной  
Круглосуточно чай.  
Все обычно, привычно.  
И живи, не скучай...*

*Я в пути возмужала —  
Был не легок мой путь.  
Стала крепче, пожалуй,  
И постарше чуть-чуть.*

*Нынче все ничего мне,  
А бывало — нет сил.  
Первый раненый, помню,  
Мне воды подносил.*

*Я вздохнуть избегаю,  
Это можно потом.  
Я ведь врач, дорогая,  
И военный притом.*

*А когда перевязка  
Затяжная идет,  
Тут и ласка и сказка,  
Тут и присказка в ход.*

*Тут поможешь и взглядом,  
Выраженьем лица.*

*Но какая награда —  
Снова встретить бойца.*

*Вот он вылечил руку —  
Возвращается в бой.  
Как с товарищем-другом  
Говорит он с тобой.  
И тебе той рукою  
Руку жмет человек.  
И спасибо такое,  
Что запомнишь навек.*

*Тут секунда-другая —  
И в карман за платком,  
Хоть и врач, дорогая,  
И военный притом.*

*Выпей чашечку чая, —  
Я уж выпила тут.  
И кончаю, кончаю —  
Там больного несут.*

*До свидания, мама.  
Не грусти от письма.  
Шлю привет тебе, самый-  
Самый — знаешь сама.*

А от мамы писем все нет, тошно мне. И вот однажды, а мы уже из землянки перебрались в какой-то дом на хуторе, сидим за обедом, разлили “наркомовские” сто грамм. Мою долю в очередь выпивали командиры из штаба батальона, было их человек десять. А тут я протягиваю свою кружку — говорят, после водки так легко становится на душе. Все смеются, накапали в кружку несколько капель. Выпила, ничего, кроме жжения во рту не почувствовала, легче не стало. Опять протягиваю кружку. Смех усилился, но опять накапали. Ничего не чувствую. Опять тяну руку. Никто уже не смеется. Мой пожилой комиссар: “Не давать! Ей же плохо будет...” — “Как не давать, это же мой паек!” Начинаю бушевать, стучу кулаком по столу — “что с мамой, что с ма-

мой?”. Вытребовала свой паяк. Выпила и разразилась такой истерикой, что не могла встать из-за стола. Положили меня на кровать (и здесь, как в первой моей землянке, она за занавеской), рыдания сотрясали наш “дворец”. Все прекратили трапезу, заставляли меня пить воду, валерьянку, терли виски нашатырным спиртом. Уснула, а на следующий день получила долгожданное письмо от мамы. Но мне было так плохо с “перепоя”, что я даже не почувствовала радости.

Под огнем в ту финскую кампанию мне быть не пришлось. Приближалась весна. Уже не говорили по десять раз на дню о финских снайперах-“кукушках”, девах-воительницах. С прибытием на фронт сибиряков — и к морозам привычных, и с лыжами обращавшихся, как с ложкой, и стрелявших не хуже тех “кукушек”, настроение на нашем фронте улучшилось, военная удача переметнулась к нам. Среди командиров уже шел разговор, что теперь мы могли бы идти до Ботнического залива и захватить всю Финляндию. Но войне приближался конец. А перед самым ее окончанием подарили мне на 8 Марта к валенкам галоши. Были они из резиновых чехлов на автомобильные фары. А цветы моим командирам не удалось тогда достать. Пусть будут галоши, ведь скоро весна, все растает!

12 марта вдруг заключили мир. Вдохнула легко. Началась подготовка к возвращению в Сланцы. Пока ждали приказа о передислокации, решили взглянуть на передовые рубежи, прокатиться в Выборг. Уже по дороге стало страшно: могучие сосны, вершины которых в располо-

жении нашей части я могла видеть только запрокинув голову, стояли тут, как обглоданные прутьики. Всюду пни. А мы еще до передовой не доехали.

Едем дальше. Наткнулись на финский офицерский дот. Заглянем? Вошли. Внутри лабиринты ходов, ведущих в разные “апартаменты”. В одном из отсеков стояло пианино, висели бронзовые канделябры. И это под землей! Хорошо и надолго устраивались финские офицеры. Любопытство увело меня от наших. Свернула куда-то по коридору и потерялась. Кричу, никто не отзывается. Они, оказывается, тоже кричали, но я их не слышала. Я уже в панике... Как счастлива была, когда меня нашли...

Приезжаем в Выборг. Кое-где разрушенные и полуразрушенные дома. Заходим с командиром в один из таких домов. Очень скромно, очень аккуратно. Приметы рукодельной хозяйки. Вышли и почти сразу же слышим за собой грохот. Оглянулись — обрушилась половина того дома, откуда мы только что вышли. Хоть война и закончена, но она преследует нас.

На обратном пути заехали в Райволо, где квартировал штаб армии. Оказалось, что начальник санитарной службы армии до войны был главврачом больницы им. Мечникова, клинической базы моего института. Он оставил меня у себя, сказав моим спутникам, что позднее сам доставит меня в часть на машине. Я навещала его в Райволо еще несколько раз, ездила туда на пушке (другого транспорта не было), что производило фурор не только среди гражданского населения, но



В один из летних дней 40-го года.

даже среди видавших виды военных. Я просила начальника санитарной службы армии не задерживать меня в армии, вернуть поскорее домой или в Ленинград. Но он ничего сделать не мог, лишь посоветовал заpastись ходатайством от заведующего Ленинградским облздравотделом Вольфензона, одновременно заведовавшего кафедрой санитарно-химической обороны в нашем институте.

Так ничего и не добившись, отправилась я восвояси в Сланцы, вместе с батальоном. Удалось кратковременно задержаться в Ленинграде, “прорваться” к начальнику санитарной службы Ленинградского

военного округа Завалишину. Попасть к такой “персоне” дело очень сложное. Вхожу к нему в кабинет. За столом сидит высокий худощавый мужчина с очень властным лицом. Представилась. Встает, пожимает мне руку. Сажусь, рассказываю, как меня обманом увезли в лес. Он сочувственно слушает, улыбается: “Так что, к Вам, такой молодой и хорошенькой, плохо там относились?” Говорю: “Знаете, когда очень хорошо относятся, так это тоже плохо”...

Подбрасываю козыри: в Ленинградском облздравотделе мне обещали ходатайство о

демобилизации... Нужной мне реакции на его лице не вижу. Начсанарм начинает разглагольствовать о прелестях дальнейшего прохождения службы в Ленинграде, он может оставить меня служить в Ленинграде... Слышу: “Надеюсь, мы сможем здесь встречаться...” Делаю вид, что ничего не понимаю, твержу, что не хочу больше находиться в армии, хочу домой, к маме. Благодушие его сменяется жестокостью. Отрывисто бросает: “Поедете на один из островов Моонзундского архипелага. Номер воинской части узнаете у Вашего командира. До свидания”. Руки уже не подает. Господи, ну зачем я прорывалась сюда на прием!

Приходится оставаться в так называемой мне “шкуре”-форме: гимнастерка под ремень со звездой, в петлице одна шпала, черный берет со звездочкой, черная монашеская юбка, высокие хромовые сапоги. Что за наряд! А мне двадцать два года! Где мои платье, блузка, шляпка!

Еду в Сланцы, а там направляюсь в часть, почти готовую для отправки в Эстонию, на остров Эзель (Сааремаа), входящий в Моонзунд. Медсанчасть 46-го (опять!) стрелкового полка 3-й отдельной стрелковой бригады береговой обороны. Медики полка, все ленинградцы, встретили меня приветливо. И комиссар (главный в полку человек) Матяшев, и командир полка Марголин — добродушные люди. Вскоре узнаю, что в полку есть правило: семейных женщин комиссар отпускает домой на несколько дней.

К одиноким матерям не отпускают, а вот к “осиротевшему” мужу — пожалуйста. Может, объявить себя семейной? Уж больно домой хочется. Пока обдумываю эту мысль, вдруг вызывает меня комиссар: “К вам приехал муж”. Улыбается, знает ведь по моим документам, что я одинокая. Смотрю, стоит мой “муж”, покоровший комиссара. Высокий, статный, красивый подполковник в морской форме, служит в штабе военно-морского флота, в управлении спортивной подготовки. Так это же Захарий Павлович Фирсов! На его лице радость, на моем — нескрываемое удивление. Он кричит: “Дорогая! Наконец-то я нашел тебя!” Хватает меня в объятия, целует. Я столбенею. Комиссар делает вид, что ничего особенного не происходит, разрешает мне отпуск на пять дней. От отпуска я отказаться не в силах.



Наша часть в Эстонии. Лето 1940 г.

Коллеги в санчасти, штабные поражены моей скрытностью: “Такой муж... и скрывает!”

Я поехала домой в Новгород, “муж” со мной. Дома ведет разговоры с мамой о женитьбе на мне. О моем желании не спрашивает. Мама молчит, только как-то после обеда, глядя на его аппетит (рост — метр девяносто девять), сказала мне: “Доченька, так он же тебя с потрохами съест”. Фирсов провожает меня до Сланцев, убеждает, я непреклонна.

Едва вернулась, выяснилось, что наша часть завтра отправляется в Эстонию, ставшую советской. Идет погрузка в эшелон. Поехали. На первой же эстонской станции фотографируемся всей командой медиков. В центре, конечно, комиссар и несколько эстонцев — железнодорожные служащие. “Улыбаться!” — велит комиссар. Я улыбаюсь вместе со всеми, хотя на душе тоска, шемит сердце, плохие предчувствия. Что-то ждет впереди? Вскоре получаю письмо от Фирсова — шесть страниц красными чернилами — “кровью”. Что ж так мало? Чернила кончились? А писать он умеет, уже после войны получаю от него несколько книг о спортивном плавании, о флотских врачах.

Через Хапсаалу на пароходе нас доставляют до Виртсу, потом мы переправляемся на Эзель, где километрах в двадцати от Курессааре расположился наш полк. Жили в наскоро выстроенных бараках. Вокруг — кустики вереска и ветры, такие сильные, что порой добираешься до барака чуть ли не ползком.

И вот опять началась война. К этому времени я служила уже в са-

мом Курессааре в 19-м ППГ (полевой подвижный госпиталь). Жила в квартире у стариков-эстонцев. У них же столовалась. Бабушка вкусно готовила, дедушка-сапожник любил поговорить, особенно, о политике. В доме столовался и молодой командир политотдела штаба бригады, по образованию юрист, по имени — Николай. Крайне вежлив, хорош собой, года на два старше меня, любимец бабушки. Жил он в комфортабельной комнате у довольно состоятельных эстонцев, которые его опекали и души в нем не чаяли. Едва началась война, он, ранее всегда относившийся ко мне с нежностью и вниманием, вдруг сказал: “Давай поженимся! Я тебя очень люблю. Идет война. Нас могут убить. Ты и любви не узнаешь. Кому нужно твое целомудрие? Если останемся живы, думаю, будем жить хорошо”. Я подумала и согласилась.

Утром пошли в загс, зарегистрировались по военным билетам (фамилию я не меняла). Его хозяйка сшила мне красивое платье, но не подвенечное, фаты тоже не было. Не такой я представляла свою свадьбу. Гости на свадьбе — госпитальные врачи и штабное начальство. От своих старичков я переехала к мужу. Мы, молодожены, жили вместе только полторы ночи — первую брачную и половину второй (среди ночи его вызвали по тревоге в штаб). Утром я поехала на велосипеде в госпиталь. Возвращаясь, он уже дома, стоит над корзиной для бумаг и рвет на куски фотографию моего институтского партнера по танцам, мы с ним даже выступали на балльных конкурсах, но однажды он поранил стеклом Ахиллово сухожилие,

и я его как партнера потеряла. А теперь теряла и его отличную кабинетную фотографию. Я возмутилась, кинулась собирать обрывки. Наутро мы поехали в загс разводиться — с таким ревнивцем каши не сварить. Но загс был еще закрыт, а нам уже пора было на работу. Так и не развелись, а потом захлестнула работа, да и стыдно было мне своих коллег, а ему — своего начальства, тем более — служил-то он в политотделе. Думать о семье, о которой столько думала раньше, не было времени.

Немцы уже захватили Таллинн, мы ждали высадки десанта с моря. Тут сообщили, что на материке тяжело ранен “большой командир”. Надо оказать ему помощь и доставить в госпиталь. Послали меня. Едем на “санитарке” через весь остров, добрались до дамбы. Вдруг водитель кричит: “Доктор! Самолет! Прыгайте, бегите к берегу, прячьтесь в траву, сбрасывайте Ваши черные берет и юбку, иначе Вас сверху увидят!..” Выпрыгиваю, бегу, бросаюсь в высокую траву, только то была не трава, а крапива. Но ничего не чувствую, только вижу — надо мной, на высоте телеграфного столба, самолет с черной свастикой. Вижу лицо молодого летчика, даже сейчас, через пятьдесят пять лет, я узнала бы его среди тысячи лиц. Улыбающееся, насмешливое. Смотрю на него и думаю: “Стреляй, подлец, стреляй скорей, но только насмерть, только не прошей позвоночник, ведь тогда я останусь здесь парализованной лежать...” Но он не выстрелил, сделал надо мной круг и улетел. Я вскочила и побежала к какому-то хутору, а он снова летит, за мной... До-

бежала до дома, мечусь вокруг, а он кружится... Около дома стоял большой стог сена, может, туда спрятаться, в стог? Но страх берет: прошьет позвоночник и вылезти не смогу, задохнусь, останусь там лежать. Так вот и играем мы с ним в “кошки-мышки”. Потом он, видимо, потерял меня из виду, поискал-поискал, сделал несколько кругов над домом и улетел. Жалел, наверное, что не нашел меня...

Побежала я к нашей машине, в ней осталась и моя санитарная сумка. Машины нет, только ее обгорелый остов. Где шофер? Может, загорелся и бросился с дамбы в море? Нет его нигде и моей санитарной сумки нет. Бегу назад, искать “большого командира”, из-за которого я натерпелась столько страха. Ведь нужно доставить его в госпиталь! Но где там, не нашла. А навстречу — раненный в голову солдат. Черепной крышки нет, лицо залито кровью, залепано мозгом, винтовка наперевес. О, господи! Делает пару шагов и падает мертвый.

Кое-как добралась до своих. А через несколько дней сама оказалась в военно-морском госпитале — острый аппендицит. Взятся оперировать меня доктор Цодиков, заведующий хирургическим отделением, тоже ленинградец. Доктор стал мыть руки, а я лежу на операционном столе, жду наркоза и припоминаю не то читанное, не то слышанное, что от наркоза, случается, и смерть наступает. Редко, один случай на столько-то тысяч, но наступает. А вдруг именно я и буду тот “один случай...” Встала со стола и убежала из операционной. Это был мой первый приступ аппендицита, потом их бы-

ло больше пяти, из них два с тяжелым инфильтратом. Полежала у себя на самолечении: “холод, голод и покой”. Обошлось, хотя долго у операционного стола стоять было трудно. Но терпела.

Работали почти без отдыха, бои очень сильные — много раненых. Говорили, что Сталин дал радиограмму командующему обороной островов генералу Елисееву: “Эвакуировать женщин и раненых!”. А генерал будто ответил: “Остров не сдадим!” Да и как эвакуироваться? Морем? Превосходство немцев на море, потопят в два счета. Воздухом — превосходство немцев в небе, собьют мигом. Других путей для эвакуации не было. Мы в мышеловке.

Раненые поступают и поступают. Эвакуировать их невозможно. Госпиталия превратились в осадочники.

Стою у операционного стола, обрабатываю очередного раненого, тот говорит: “Я знал Вашего мужа, его уже нет в живых. Я видел, как он смертельно был ранен на дамбе...” А я даже отойти поплакать не могу. Стою и продолжаю работу.

Каково мне было потом читать воспоминания Клары Приске, жительницы Сааремаа, призванной в армию и служившей в нашем госпитале сперва санитаркой, потом медсестрой: “Первая партия раненых произвела на нас страшное впечатление. Мы дрожали от страха. Но рядом с Тамарой Николаевной Широченковой было не так страшно. Перед нами была молодая стройная женщина. Лицо, будто сошедшее с лика Божьей Матери, спокойный взгляд, нежные и длинные пальцы. Нам казалось, что она была послана Богом исцелять храбрых воинов,

защитников своего народа”. Боюсь, что это спокойствие, так поразившее Клару Приске, было сродни опе-пенению, которое иногда нападало на меня во время обстрелов или тяжелых переживаний.

Пришел приказ о передислокации на полуостров Сырве (Церель), со-единенный с Эзелем узеньким на-сквозь простреливаемым перешейком. Приходилось уходить с “Большой зем-ли”, ею для нас был горящий Эзель. Отсюда, кстати, с аэродрома Кагу-ла, еще 8-го августа 1941 года са-молеты полковника Преображенско-го летали бомбить Берлин. Мне рассказывал об этом участник бом-бежек Берлина полковник в отстав-ке герой Советского Союза А.Я.Ефремов, живший потом в Ри-ге. А вот строки об этом из после-военных стихов майора Яськова:

*... А когда темнели неба краски,  
Снова оживали голоса.  
Обнимались летчики по-братски,  
“На Берлин!” — звучали голоса.  
А теперь ни грохота, ни шума.  
Васильковой скатертью покрыт.  
Спит в тиши аэродром Кагула,  
Запах трав и пороха хранит.*

Помещения для госпиталя на Сыр-ве нет. Отделения его размещают по хуторам. Стерилизация материала на примусах и керосинках. Обрабаты-ваем раны, влезает в живот, в груд-ную клетку, в черепную коробку. Над операционным столом натянуты про-стыни. Постоянная стрельба. И ча-стая мысль: вот-вот тебя “накроют”. Однажды “громыхнуло”. С потолка посыпалось, простыни оборвало. А на операционном столе лежит в нар-козе раненный в живот. Кишки у него вздуваются, как автомобильные шины. С минуты на минуту обру-



шится дом. Надо уходить и уносить раненого. Но как? Кишки на пути вывалются. Ложусь в халате ему на живот, и раненого вместе со мной выносят в сарай.

Опять передислокация. Совершенно не ориентируемся, что делается вокруг. Только стрельба, стрельба, стрельба. Полуостров простреливается насквозь: с моря бьют с кораблей, с “тыла”(с острова) — та же артиллерия, сверху бомбит авиация. Страх исчез. Апатия. Один вопрос: как и когда тебя убьют? Какая смерть?

Как-то раз вышла из госпиталя немного отдышаться, добрела до ближайшего лесочка и вдруг слышу, как что-то зашипело и премеерко завизжало, а потом меня страшно трянуло и ... ничего больше не помню. Сколько пролежала, не знаю, очнувшись, вся занесенная песком. Меня мучительно тошнило, “выворачивало”, судороги стягивали щеки и челюсти. Нет сомнений, у меня — сотрясение мозга (commotio) и, вдобавок, ушиб мозга (contusio). Ползком дотатилась до своих, отлежалась пару часов, и, шатаясь, едва стоя на ногах, пошла к операционному столу. Поистине, безграничны компенсаторные возможности организма (правда, впоследствии то сотрясение мозга напомнило о себе).

А в эти дни генерала Елисеева отзывают в Ленинград, назначают командантом Кронштадтской крепости. Он “тянет” за собой военкома Зайцева замом по политработе, еще кого-то. Последний корабль, торпедный катер, уходит на прорыв 4 октября. На его борту командир 3-й отдельной стрелковой бригады полковник Гаврилов. Немцы катер по-

дожгли. Накануне на двух рейдовых буксирах ушли командиры 46-го стрелкового полка и 39-го артиллерийского полка. Большое начальство ушло. Остался только начштаба Ключников. Думать о раненых и медиках было некому. Приходилось думать самим. Кто-то из санитаров и легкораненых предлагает вязать плоты и на них и рыбачьих лодках пробираться в Швецию! Фантазия. Едва отплывут, тут же будут расстреляны немецкой авиацией или сторожевыми кораблями.

С минуты на минуту здесь будут немцы. Ни бежать, ни стреляться... а как же раненые... Прохожу мимо коек, они, как дети, хватаются за халат, умоляют, кричат, шепчут (на крик сил уже нет): “Доктор, дорогая, не бросай, не оставляй...”

Шум мотоциклетных моторов. Фашисты уже здесь, вот они уже входят. Мы — в плену. Страшно! Нас, раненых и медиков госпиталей, здесь несколько тысяч. Очень страшно!

Вошедшие немцы требуют, чтобы все встали. Но все раненые — лежачие. Мы, персонал, стоим, едва держась на ногах. Ждем, когда просвистят автоматные очереди. Не стреляют.

Объявили ответственного. Им назначили доктора Лазебного, нашего начальника госпиталя, теперь уже бывшего. Предстояла эвакуация в обратном направлении — в Курессааре, за 40 километров. Часть раненых перевезли на наших же машинах, женщин-медиков таким же образом. Большую часть раненых перевезли на повозках, в которые впрягли здоровых солдат и командиров. В наши бывшие госпитальные учреждения раненые возвращены не были.

Ходячих поместили в лагерь-лазареты, лежачих распределили по домам и сараям, где они в основном лежали на полу, на подброшенной им соломе. Помещения почти не отапливались. Суточный паек для военнопленных, в том числе и раненых, составлял 60-65 г хлеба, пол-литра грязной баланды из мороженой неочищенной картошки и небольшого количества гнилых капустных листьев. На двести человек полагалось 1,5-2,0 кг тухлой рыбы или голова дохлой лошади. Тяжелораненые умирали в ближайшие недели, месяцы.

С первых дней плена началась охота за политработниками. Кто выдаст комиссара или политрука, тому обещали буханку хлеба (900 г). Голодные, обезумевшие люди теряли человеческий облик, указывали на кого попало. Выудив из лазарета трех политруков, немцы (среди них капитан Хитцеград) их расстреляли во дворе лазарета, приказав санитарам вырыть могилы-ямы. Так погибли батальонный комиссар Шатров из 3-го стрелкового батальона, семья его жила в Ленинграде; старший политрук Романов, жена его раньше работала в политотделе штаба бригады на Эзеле, потом эвакуировалась в Гусь-Хрустальный; и политрук Федоров из отдельного инженерно-строительного батальона. Лежачим политработникам немцы вводили внутривенно воздух; предлагали это делать нашим врачам, а когда те отказывались, тут же проделывали "инъекцию" сами. (Как ни странно, обычно смертельные дозы "инъекций" не приводили к "результату", дозу стали существенно увеличивать.)

Печальна была участь наших коллег-евреев. Большинство их сразу же изолировали. Иных содержали в общих лагерях. В лагере Пскова затравили собаками, а потом расстреляли военнврача III ранга хирурга Георгия Борисовича Цодикова, у которого я в свое время сбежала с операционного стола. Мученическая смерть в концлагере Вильянди ждала Ласкина, начальника аптеки военного госпиталя на острове Даго (Хиума).

Большую часть военнопленных, в том числе и раненых, в первые же дни отправили на материк. А примерно через месяц немцы приказали всем, кто способен был пройти хотя бы на костылях метров сто-двести, построиться. Таких оказалось человек пятьсот-шестьсот. Подъехали машины. Всех выстроившихся погрузили на машины, отвезли километра на полтора от лазарета, там согнали с машин и пустили маршем на семьдесят километров. Тех, кто отставал, конвой немедленно расстреливал. До материка добрались немногие.

В Курессааре был оставлен только небольшой лагерь-лазарет для тяжелораненых. При этом "учреждения" оставили и часть наших врачей. Очень пожилой доктор Владимир Николаевич Табаков, окулист, был назначен ответственным. При нем прозектор Антонина Александровна Никифорова — наш "стимулятор", и я — общий хирург. Еще несколько военфельдшеров и медсестер.

Оставшихся на острове военнопленных посылали на работы на лесной завод. До него из лагеря километров семь. Тяжелая изнурительная работа на голодном пайке. Они ча-

сто попадали к нам в лагерь-лазарет, многие — с пневмонией.

Из немцев нашим шефом был ефрейтор Шмидт. Явно не нацист. Строгой дисциплины не требовал, разрешал в свободное от операционной работы время читать раненым книги. Так мы прочли им “Приваловские миллионы”, “Князь Серябряный” ... Особенно заслушивались книгами раненые и обожженные слепые моряки. Шмидт помалкивал. Сквозь пальцы смотрел он и на уатенный нами перевязочный материал, вывезенный с Сырве; и медикаменты мы оттуда прихватили в карманах. Берегли их, предвидя еще более трудные времена. Стирали бинты, мыла не было, стирали в золе, потом гладили их духовым утюгом, который кто-то догадался захватить с собой при “эвакуации”. Стирка и глажка бинтов была общим делом и врачей, и санитарок. Если мы с Антониной Александровной не принимались за бинты, то и санитарки не трогались с места — мы им больше не указ. Начальство теперь для них — только Шмидт, который бывал у нас ежедневно, а иногда приезжал еще и старший немецкий врач. Стали мы учить немецкий язык, чтобы говорить с “шефами”. Я довольно скоро научилась болтать по-немецки, даже прочла на нем исторический роман “Вейблихе Султан” о Елизавете, дочери Петра I. Антонина Александровна учила еще и французский.

Все время были заняты, но постоянно мучил голод, даже чтение вслух прекрасных занимательных романов не заглушало его. А не сходит ли мне на разведку, скажем, к моим старым хозяевам, к семье Юх-

тунд? Может, там сумею добыть что-нибудь из съестного? А вот как выйти из лазарета, как вернуться? Наш дом был угловой. Небольшой участок земли возле дома был огорожен колючей проволокой. Снаружи ограды постоянно ходил вооруженный часовой из местной эстонской полиции. План был таков: когда часовой завернет за угол, кто-то из наших должен его заговорить, отвлечь, а я в это время подлезая под приподнятый кем-нибудь из моих подруг нижний ряд проволоки — мои габариты и 45 килограммов веса позволяли мне это сделать. Ну, и не забыть, конечно, цивильную одежду. Таким же путем и вернуться, хорошо бы с “добычей”.

Вот я уже по ту сторону проволоки. Пробираюсь к моим старикам. Звоню. Открывает бабушка, взъерошенная, заплаканная. Войти разрешила, но тут же вцепилась мне в лицо и волосы. Вырываюсь и спрашиваю: “Что случилось?” — “Разве ты не видишь! Дедушку русские убили. При отступлении сигналы всех, кто им нужен был, в крепость и там на площади расстреляли. Я осталась совсем одна”. Не знаю, кто расстрелял дедушку, но думаю, что там не обошлось без местных, знавших его как любителя поболтать на политические темы. Знаю только, что прихода немцев он не хотел.

Что делать? Что сказать бабушке? Мои слова утешения приводили ее в бешенство. Наплакавшись, она вдруг сменила гнев на милость и кинулась опять на меня, теперь уже жалеть и целовать. О еде я, конечно, и заикнуться не могу. Она смотрит на меня, говорит: “Как же ты похудела, совсем прозрачная... Голо-

даешь?” Отвечаю: “Видишь, еще живая, могло быть хуже. Еда, конечно, не ресторанный...” Рассказываю о нашем районе. Она спросила: “А где мой Коля?” Говорю: “Убит”. Заплакала. Пошла на кухню. Выносит в корзиночке несколько кусочков хлеба, несколько вареных картошек и десяток вяленых салак. Должно быть, отдала мне все свои запасы. Для меня это целое богатство. Потом еще: “У меня в подвале спрятано радио. Хочешь послушать Москву?” Я отказалась. Мне не до Москвы, главное сейчас — вернуться назад с добычей; корзиночка не нужна, она слишком заметна.

Все обошлось, вернулась так же, как ушла. Устроили пир. В эту ночь уже не так сосала голодная боль под ложечкой.

Бабушку я навещала два раза в неделю. За еду стирала белье, в том числе и постельное. Уносила и стирала у себя в лазарете. Мыла не было, стирка золой разъедала мне руки до крови, но для наших условий белье было совсем неплохо выстирано и выглажено. Она принимала мою работу, обнаружив складочку, швыряла мне вещь в лицо. Мне было очень обидно, но я с извиняющимся видом молчала, боясь потерять “пайку”. Надо хронически голодать, чтобы оценить, что значила для нас эта, хоть и небольшая, подкормка. Может быть, я могла бы еще зарабатывать шитьем, но шить я, к сожалению, не умела. Когда потом спросила у мамы, почему она не научила меня шить, мама ответила: “Жалела”.

В поисках подкормки подстерегали меня и опасность и неожиданности, и страх и растерянность. Там

же, в Курессааре, была у меня еще до войны знакомая полуэстонская семья. Муж — ветеринарный врач, эстонец, жена — в прошлом русская. Дочь — дама “света”, красивая, высокая, стройная. При всех властях жили они очень хорошо, в полном материальном благополучии. Меня раньше всегда радушно принимали, угощали. Вот я и решила к ним “закатиться”, перехватить что-нибудь. Они радушно меня приняли, посадили за стол, угощают. Рассказываю им подробности нынешней моей жизни. Они сочувственно слушают. Думаю: а с собой что-нибудь из съестного дадут? Вдруг звонок. Хочу метнуться в другую комнату, потом через кухню — во двор и исчезнуть, но они меня задерживают: “Сиди-сиди, ничего, это свои”. В комнату входит мужчина в немецкой военной форме, как оказалось, врач, ухажер дочери, интересный. Я сижу ни жива ни мертва. Нас знакомят: “коллеги”. Втягивают меня в разговор, говорим все по-немецки. Часовничаем... Давлюсь не только бутербродом и кексом, но даже чаем. Делаю “вид” и говорю, что очень спешу. Встаю, чтобы распрощаться. И вправду, я очень спешила; в нашем лагере-лазарете подходило время смены караула, “добродушного” должен был сменить “злюка”, и я должна была успеть нырнуть под колючку до пересменки. Вдруг немец: “Я Вас провожу”. Умоляюще смотрю на хозяев: задержите его, но немец упорно настаивает на своем. Не отвязаться! Вышли, идем, болтаем на разные темы, в основном, медицинские. Я больше слушаю. Ему это нравится. Все время норовит взять меня под руку. Я отбиваюсь, то глаз

почешу, то нос, то берет поправлю. Вот уже скоро видна будет колючая проволока... А пока перед нами какой-то освещенный двухэтажный дом. Я говорю: “Генуг (довольно), — и показываю на дом — вот здесь я живу. Ауфвидерзейн (до свиданья)”. Он пытается поцеловать руку, хочет довести до парадной. Но я настойчиво отклоняю это предложение. Быстро вбегаю в парадное, оставив его в явном недоумении. Через стеклянную дверь парадной смотрю, когда он скрывается, и “дую” к своему “замку с крепостью”; не потерять бы только в суматохе сладкую “посылочку”, которую хозяева мне все-таки успели сунуть. Сейчас вспоминаю об этом — и на лице улыбка, а посмотрели бы вы тогда на меня...

Наступил 1942 год. Раненых и больных становилось в нашем лазарете все меньше. Кто умер, кого-то пришлось под давлением “старшего шефа” выписать. Отправили, как выяснилось потом, в таллиннский лагерь-лазарет и Антонину Александровну, медсестер, всех, кроме одного, фельдшеров. И нам оставаться в Курессааре долго не пришлось. Лазарет ликвидировали, нас тоже перевели в Таллинн. Задержались мы там очень ненадолго, я не успела осмотреться, но, кажется, в Таллинне было не очень страшно.

Потом повезли в Тапу. Вот там было очень страшно. Разместили нас с ранеными и больными в общих длинных бараках. Лежали все на двухъярусных нарах, вповалку, под лохмотьями. Утром зондеркоманда таскивала баграми с нар умерших, а то еще и полуживых, стонущих людей. Положение военнопленных в нашем лагере было настолько ужа-

сным, что иные “бежали” в другой лагерь, откуда их после жестокого наказания за “побег” водворяли на старое место. А сыпной тиф, свирепствовавший в ту зиму... Невообразимая вшивость, на волосяном покрове вши висят гирляндами. Лежишь на нижних нарах, едва наверху кто шевельнется — сыплются на тебя вши как горох. Голод такой чудовищный, что началось трупоедство, в этом были замечены люди, от которых ну никто подобного не ожидал. От голода сходили с ума.

Наконец мы покинули этот страшный лагерь. По этапу нас переправили в Вильянди, где в большом двухэтажном доме, бывшем детском приюте (киндерсхейм), размещался лазарет. Там нас, медиков и больных, изолировали от ужаса общего концлагеря. Но голод!!!

Перевели нас в Вильянди глубокой осенью 1942 года. Вокруг дома пожелтевшая увядшая трава, когда-то зеленая. Эту жухлую траву мы с жадностью уминали. Налетали саранчой на старые подмерзшие капустные листья, оставленные кем-то на соседнем поле. Уверяли себя, что поддерживаем ими “витаминный баланс”. В обед нам давали суп с жирным “наваром” из грибных червей (была очень урожайная на грибы осень, оккупационный оброк на местное население составляли грибы). Несмотря на все уговоры Антонины Александровны, обещавшей мне через этот “супчик” выживание, я к нему не притрагивалась.

Вскоре случилось событие, трагическое для меня. Пришел как-то немец, зачитал по алфавиту фамилии и сказал, что все названные им сейчас отправятся с транспортом в дру-

гое место. Куда? Молчит. Среди названных была и Антонина Александровна. Никакие мои просьбы не различать нас не помогли. Так я осталась одна, а Антонина Александровна отправилась, как выяснилось потом, в Германию, в концлагерь Равенсбрюк, где ей и пригодился французский (там было много французов), который она учила еще в лагере в Курессааре. Антонина Александровна выжила, написала книгу “Это не должно повториться”. В июне 1997 года я ее поздравила с девяностолетием.

А через несколько недель и нам предстоял этап. Еще в Вильянди слышали слово “Саласпилс”, Латвия. Где именно в Латвии находится этот лагерь, мы не знали, но от “знатоков” были слышаны: “лагерь смерти”. Что это такое? Там просто убивают или доводят до смерти? Попадём туда сами — сами поймем...

При всяких передвижениях военнопленных из одного лагеря в другой, во избежание побега, всех дважды подвергали тщательному обыску. Отбирали все металлические вещи (вплоть до ложек), прощупывали швы, выстукивали подметки, исследовали анальное отверстие.

Едем на поезде. Приезжаем в большой столичный город. Знающие говорят: “Это — Рига. Латвия”. Поезд останавливается где-то на окраине города. Позднее поняла, что это была станция Земитаны (Ошкалны). Ведут в мойку — санпропускник. Нужно раздеваться. Стесняюсь своей худобы. Из прежнего остались только волосы (не худеют). Прикрываю ими, как плащом, грудь. А прикрывать-то фактически нечего — гладко. Но прикрываю. Потом нас вы-

страивают в комнате, соседней с душевой. За столом сидит пожилой, лет пятидесяти пяти, немец, в офицерской военной форме, кажется, в высоких чинах. Рядом крутится молодая, пухленькая, невысокого роста женщина-переводчица. Нам говорят, что офицер — старший врач (оберштабарцт) шталага. Он объясняет, что необходимо воспрепятствовать распространению эпидемий, что нужно соблюдать элементарную гигиену и т.п. Одним словом, читает нам лекцию по санпросвету. Еще раз осматривают на вшивость. Волосы у меня уже подсохли, закручиваются в кольца, я заметила, что немец явно обратил на них внимание. Переводчица Ляля сказала нам, что он самый большой начальник, что от него зависит наша судьба.

Повезли нас на какой-то завод, в его обжитую часть. Поднимаемся по лестнице, входим в комнату, проходную. На полу набитые соломой матрасы. Какие-то женщины, сидят парами на подоконниках, почти у каждой в руках гребешок... На военнопленных явно не похожи. Слышу, говорят они, что неплохо бы выпить, матерятся. На нас посмотрели с презрением. Через них проходим в угловую комнату. Там стоят три железные кровати с набитыми той же соломой матрасами. Посреди комнаты стол, над ним электрическая лампочка. Нас трое. Кроме меня, еще два врача: Анна Ивановна Прошагина, лет сорока с хвостиком, москвичка, по специальности — ухо, горло, нос, Александра Ивановна, из Ленинграда. Радуюсь, что не с теми... из проходной. Но что ждет нас впереди? Где тот Саласпилс, лагерь смерти?

Через пару часов вдруг стук в дверь. Мы удивились и испугались. Кто это? Почему стучат? Входит тот самый пожилой врач из санпропускника, интересуется, как мы устроились. Благодарим... В руках у него толстая книга. Спрашивает, кто говорит по-немецки? Отозвалась я. Вот, говорит, хотел бы попросить перевести на немецкий слова православных песнопений, тут, в книге, под нотами, эти слова; туда же, под ноты, надо и немецкий перевод вставить. Взялась, надеясь на сохранившиеся в памяти молитвы, сказала, что попробую. Оставил он книгу, сказал, что зайдет завтра или послезавтра. Кое-что сделала к его приходу, но дело оказалось трудным, нужны были консультанты, хорошо знающие оба языка. Но я старалась. И Анна Ивановна, и Александра Ивановна хотели бы мне помочь, но по-немецки они почти не говорили. Мы все помнили, что от “него” зависит наша судьба. А текст такой трудный. Две недели подряд оберштабартц приходил к нам. К очередному его появлению так ли, сак ли я готовила какой-то кусок. Он выслушивал мой перевод, расспрашивал нас, кто мы, откуда. Спросил о Новгороде. Я подробно рассказывала ему о городе, который знала довольно прилично. Когда-то на каникулах я познакомилась на танцплощадке с Семеном Гриншпуном, аспирантом Московской академии художеств. В Новгород он приехал изучать фрески Феофана Грека, а еще должен был написать для Всемирной выставки в Париже башню Кокуй, что он и сделал, изобразив у подножья башни меня, правда, почти неузнаваемую, размером с муху.

Он был очень интересный спутник в наших прогулках, хоть и лет на восемь старше меня. “Убивала” только его профессиональная эрудиция. О моем Новгороде он знал больше меня. И вот, чтобы не казаться окончательным профаном, я, накануне свидания, обложившись книгами, детально изучала какую-нибудь главу, а потом тянула Семена в ту часть города или в ту церковь, к разговору о которой была готова. Как-то мы зашли не “туда”, я не была готова к беседе о встречающихся нам исторических памятниках, вопреки обычному, молчала. Семен с удивлением смотрел на меня. А потом я потащила его в изученную уже мною церковь Федора Стратилата и там “реабилитировалась”. Вот эти-то приобретенные тогда и потом знания о Новгороде я выкладывала теперь немцу. Он слушал с интересом. О Ленинграде и сам знал многое, о Москве тоже.

Как-то он пришел к нам заметно взволнованным. С какой-то виноватой улыбкой, заметно картавя, сказал: “Тамара! Завтра всех женщин должны отправить в Германию, на тяжелые работы. Я могу устроить, чтобы Вас отправили ко мне домой, в Германию, будете там помогать моей семье. Вы видите, я к Вам тепло отношусь. Я не нацист. Вы напоминаете мне мою единственную дочь. У нее такие же, как у Вас, волосы, только покороче. Глядя на Вас, я часто думаю, как-то сложится ее судьба. Поезжайте. Пока жена и дочь будут сыты, и Вам голодать не придется. Я хочу сделать это для вас. Решение надо принять сейчас же, завтра уже будет поздно”.

Это его предложение для меня —

как нож. Я заплакала, потом зарыдала, сказала “нет”, по своей воле не поеду. Домработницей не буду, даже в семье врача. Он пожал плечами. Сказал: “Это был бы для Вас лучший вариант. Тогда единственное, что я могу, это попытаться оставить Вас и Ваших двух подруг в Латвии. Но это будет концентрационный лагерь Саласпилс, как говорят заключенные — лагерь смерти... Подумайте в последний раз”. Долго не думала, выбор сделан. Не все ли равно, где умереть: в лагере смерти или в Германии... Мои подруги слепо приняли мое решение. Завтра мы будем в Саласпилсе. Уходя, он сказал, что постарается навестить нас там.

Вот мы и в Саласпилсе... Нас, трех врачей, поместили в какой-то домик, окошко в комнатке было на полметра от уровня земли. Поблизости от нас стояли два длинных барака, там на двухъярусных нарах лежали тяжелобольные и раненые военнопленные, многие без сознания. Их было много, человек двести.

Лагерь был окружен колючей проволокой. Подходить к проволоке на расстояние ближе двух метров — запрещено. Для “профилактики” побегов через проволоку пропущен электрический ток. Голод. В любую погоду из бараков выгоняли на перекличку — апель. Нам, врачам и больным, апель не устраивали.

Нашим постоянным “шефом” был молодой немец, как скоро выяснилось, еще не окончивший медицинский институт унтерарцт Маммин. Хорошая выправка, красив, но со стеклянными жестокими глазами. На второй день он повел нас знакомиться со “стационаром”. К нам он приходил каждый день. Присутствовал на пере-

вязках, в операционную никогда не заглядывал, видимо, потому, что делать ему там было нечего, ни оперировать, ни руководить операцией он не мог. Отыгрывался в “палате”, когда он появлялся там, все больные должны были вытянуть руки вдоль туловища и ловить его взгляд, хоть ходячие, хоть лежащие. Понятно, что не каждый больной мог выполнить такое приказание. Заметив нарушение порядка, он оставлял весь барак, двести человек, без еды на двое-трое суток. А еды этой и так было ничожно мало.

Через несколько дней, в переязычной, он, уже запомнивший мое имя, вдруг сказал с насмешкой: “Ну что, Тамара! Что вы такая печальная? Из-за Ленинграда? Наши войска сильно бьют его, скоро совсем разобьют. Как? Жалко?” Я разозлилась. Он, недоучка, будет смеяться надо мной, выпускницей Ленинградского медицинского. Еле сдерживая себя, отвечаю, тоже с иронией: “Ничего, разобьют и построят!”. А он все так же насмешливо: “Кто же строить будет? Ведь русских там почти не осталось, или убиты, или умерли от голода”. Ну не могу молчать! Отвечаю: “Как кто построит? Кто разобьет, тот и построит... немцы построят”. Он зеленеет, хватается за кобуру. Анна Ивановна, стоящая рядом, хватая меня за руку, шепчет: “Помолчи! Доведет тебя твой язык до смерти!” Я замолчала, а то неизвестно, чем мог бы кончиться этот “диалог”.

Тоскливо и страшно. Единственная отдушина — доктор Николай Александрович Титов. Не унывает. Даже пишет на немецких бланках книгу по оперативной хирургии, уве-



ряет, что пишет ее для меня, в подарок мне. Читает стихи, говорит, что мы обязательно должны выжить, что найдет меня, где бы я ни была. А потом мы вместе поедем на какое-то ранчо...

А оберштабарцт не появляется. Жалко! И книга его у меня осталась. Надо бы отдать. Через пару дней после “разговора” с Мамминым, оберштабарцт, наконец, появляется в нашей комнате. Как бы извиняется, говорит, что был в командировке. Пошли в “стационар”. Маммин, конечно, тут же, при нем. И вот я начинаю жаловаться на “унтерарцта”, на его жестокость, на заведенные им порядки. А Маммин стоит перед ним навтыжку, как положено младшему перед старшим, бледный, только мечет на меня уничтожающие взгляды. Кажется, я слышу скрежет его зубов. А оберштабарцт (к сожалению, я никогда не знала его фамилии) с улыбкой говорит ему: “Ну не надо так, ведь они больные, а мы все-таки врачи...мы должны гуманно относиться к больным.” Тот руку под козырек: “Яволь!” И мечет, мечет на меня “стрелы”. Я злорадствую: вот сделала тебе пакость, хоть маленькую, да сделала, ненавижу тебя, если не исправишься, еще буду жаловаться...

Спросил оберштабарцт и про перевод. А я не занималась им, думала, что он больше не зайвится. Было неловко, что я забыла о его просьбе. Каждый раз, когда он появлялся в лагере, он напоминал мне про песнопения. И хоть теперь я помнила о них и с языком продвинулась, дело вперед не шло, тексты все усложнялись и усложнялись.

Приехал опять. Пошли мы в бараки, конечно, с Мамминым. Там

уже больные больше не вытягивались лежа по стойке “смирно”. Одобрительно посмотрел на своего подчиненного. Тот стоит с каменным выражением лица.

Однажды приехал и сказал, что привез мне фотографии, виды Риги, чтобы я представляла себе, где нахожусь. Эти фотографии и сейчас у меня. На одной из них изображен Рижский Христорождественский собор, на двух других — Рижский собор св. Петра (без башни) и Дом Черноголовых. Подарил мне еще две фотографии — с видами Версаля, на обороте одной из них дата: “12/8.40. Versailles”. Потом предложил мне самой сняться. “Сядьте, — сказал он, — возьмите книгу, сделайте хорошее выражение лица!” Кажется, снимал он меня в предоперационной.

Там же в предоперационной, я осмелилась в один из его приездов завести опасный разговор.

Приехал. Пошли в операционную, где оперировал доктор Титов. Маммин, как всегда, туда не пошел. В предоперационной, оставшись без свидетелей, я сказала своему спутнику: “Вы знаете, что положение на фронте изменилось, что немцы войну проиграли. Вы умеете водить машину, возьмите меня, прорвемся через линию фронта к русским. Вас не тронут. Я скажу, что Вы были лояльны к военнопленным”. Он не возмутился, только сказал: “Это невозможно. Меня сразу же расстреляют, как расстреляли бы и вашего, перебеги он сюда”. Внутренне я с ним согласилась, причем подумала, что расстреляют не только его, но и меня... Разговор на эту тему больше не продолжался. Пошли в операционную, потом спрашивались.

Он ушел с Мамминым к машине, я — в комнату.

Вдруг вижу через окно, что он идет от машины к нашему домику, необычайно вальяным шагом подходит к окну, улыбается, говорит “еще раз до свиданья” и возвращается к машине. В развалочку, как обычно... садится рядом с водителем и уезжает...

Прошло минут пятнадцать. За окном какой-то громкий разговор. Прислушиваюсь. Погиб оберштабартц. Машина резко затормозила, он ударился головой о ветровое стекло и получил смертельный перелом основания черепа. Не знаю, так ли все было? Думаю, что его убили, подозреваю, не без помощи Маммина, который вполне мог донести о его лояльном отношении к русским военнопленным, а там началась слежка, подслушивание, тайные обыски... Слышала, что похоронили его без всяких почестей, в бумажном костюме.

Через день заходит к нам комендант лазарета унтер-офицер Доммермут и говорит, что меня вызывают в комендатуру. Комендатура находилась в верхнем лагере, нужно идти туда километра три-четыре. Доммермут обычно разъезжает по лагерю на велосипеде, а теперь идет рядом со мной, велосипед ведет “под уздцы”. Он очень словоохотлив. Рассказывает, что ждет конца войны, что хочет заняться хозяйством. Вот только земли у него в Германии маловато, но ему обещали несколько гектаров в Латвии, тогда он здесь и дом построит. Надеется, что на фронт его не отправят, здоровье неважное. Я спрашиваю, зачем меня вызывают в комендатуру. Он ничего не знает. Приходим. В небольшой комнате

сидят за столом три немца. Один из них унтерартц Маммин, двое других незнакомы мне. Маммин спрашивает: “Тамара, Вы знаете, почему Вы здесь?” Отвечаю, что не знаю, что никакая вина за собой не чувствую. Он: “Вы обвиняетесь в смерти немецкого офицера. Вы будете наказаны. Объявляю Вам трое суток карцера без еды и питья. Идите!” Я с возмущением говорю, что за смерть немецкого офицера полагается расстрел, а не карцер... Он повышает тон: “Идите!” Унтер повел меня. Держусь. Я шла по этой дороге впервые. Думаю о разговоре с Мамминым, вспоминаю погибшего оберштабартца. Потом спрашиваю коменданта: “А крысы в карцере есть?” — “Есть, и много”. Сдержанность меня мигом покинула. Разревелась. Комендант смотрит на меня с сожалением, но успокаивать не собирается, он знает, каково в карцере.

Приходим. Дощатый барак, высотой, примерно, в полтора этажа. Лес вокруг дома вырублен, валяется несколько бревен. Часового не вижу. Вверху, под крышей, соответственно числу камер, десять маленьких щелочек. Поднимаемся по лестнице. Входим в узкий коридор. Справа — по всей длине коридора, глухая стена с двумя под потолок маленькими щелочками для света. Слева — десять дверей с задвижками и большими висячими замками. Все камеры пусты. Окошечка в двери, как бывает обычно в тюремных камерах, не предусмотрено — карцер ведь без еды и питья. У входа в коридор “параша” — деревянное ведро. Унтер открывает среднюю камеру и впускает меня. Сам остается в коридоре — для второго человека места в

камере нет. Инструктирует меня: я могу лежать на деревянном топчане вдоль стены, только он короткий — ноги надо поджать. Если захочу подышать воздухом, надо встать на топчан, приподняться на “пальчики” и глотать его из окошка, пока хватит сил так стоять. Он, унтер-офицер Доммермут, будет приходить сюда раз в день, выводить меня на парашу. Спрашивает, все ли понятно. Все понятно, только, может, учитывая такую строгую “диету”, и не приходить ему сюда.

Унтер запирает двери и уходит. Остаюсь одна. Не ложусь. Жду крыс. Они наступают, нагло заглядывают мне в глаза. Я стучу ногами, замахиваюсь на них платком, плачу, но слез, к сожалению недостаточно, чтобы утопить эту мерзость в слезах. Глаз не сомкнула.

На следующее утро, примерно, в полдень, приехал на велосипеде унтер. Открыл камеру, на лице улыбка. Предложил воспользоваться “парашей”. Я отказалась. Тогда он говорит: “Тамара! Господин унтерарцт Вас освобождает, выходите!” — “Ах, меня господин унтерарцт освобождает!.. Не выйду! Он ведь сказал, что мне положено трое суток! А еще коллега... Не выйду! Так и передайте ему”. Унтер потоптался, уехал. Часа через два приезжает снова. Уже строго говорит: “Выходите, Ваш шеф шутить не любит”. Я ни с места. Говорю ему что-то злое про “шефа”, прошу его передать “шефу”, чтоб тот подавился моими костями и потрохами, если меня крысы сожрут. Мне так хотелось передать ему мою ненависть и презрение, но слов подходящих не было, ругаться “помужски” было так же противно, как

видеть Маммина, но, кажется, ничего бы все-таки не пожалела тогда, чтобы произнести что-нибудь “поэтичнее” из выражений.

Осталась одна. Начинаю жалеть, что отказалась выйти из карцера. Теперь не выйти. Камера заперта, комендант мог бы оставить ее и открытой... Часа через три мой унтер снова возвращается. Открывает камеру, шепчет: “Шеф внизу, приехал на велосипеде, сидит на бревне. Таким разъяренным я его никогда не видел. Шеф говорит, но какая-то русская, военнопленная, а так себя ведет... Сейчас же выходите, Тамара!” Отвечаю, почти кричу, пусть слышит тот, кто внизу на бревне сидит, что я не “какая-то”, а врач с четырехлетним стажем, а кто-то еще даже университет не окончил.

Выхожу. Он, действительно, сидит на бревне. Прохожу мимо, никакого с моей стороны благодарственного приветствия, демонстративно, презрительно поворачиваю голову в противоположную сторону. Идем с комендантом по дороге. “Шеф” остается сидеть на бревне. Возвращаюсь домой, мои плачут, жалея меня. Я молчу, рассказывать ничего не могу, нет сил...

На следующий день иду с Мамминым в палаты. Нашего “защитника” больше нет, и больные снова вытягивают руки по швам...

Вот уже лето 1944 г. Унтерарцт ведет себя уже не так заносчиво, контролирует нас далеко не каждый день.

Однажды он опять вызвал меня в комендатуру, снова через Доммермута. Неужели, думаю, опять карцер или какую-нибудь новую гадость он мне готовит? Вдруг слышу его спокойный голос: “Тамара! Из рижской

больницы для русских беженцев сообщили, что там эпидемия. Просят прислать врача. Вы согласны?” Отвечаю, что согласна, что прошу только отправить вместе со мной докторов Анну и Александра. Он не возражал. Предупредил, что уже завтра будет машина, чтобы мы собрали свои вещи, не забыли талон с номером шталага, что на второй день нам обязательно нужно будет зарегистрироваться в комендатуре, регистрацию повторяют еженедельно. Сказал “до свидания” и сделал попытку пожать мне руку, но вовремя спохватился.

Я побежала с радостной вестью к коллегам, сообщила о переменах доктору Титову. Он был рад за меня, но огорчился, что приходится расставаться. Стали собирать вещи, я отобрала самое ценное для меня: пальто, шинель и сапоги, фотокарточки (я пронесла через все лагеря даже фотокарточку моего мужа, только обрезала ее, удалила с нее все приметы его армейской службы). Утром подали машину. Забежала проститься с доктором Титовым. Он оперировал, но прервал операцию, вышел в коридор, пожал мне руку и сказал: “Жив буду, разыщу!”

Больница для русских беженцев находилась на Малогорной (Маза Калну), в Московской форштадте (предместье), не лучшей части города. Уполномоченный в больнице — врач Гурьев. Он с удивлением слушает наш рассказ и говорит, что никакой эпидемии у них нет, больных мало, даже свой персонал недогружен. Однако направляет нас в дом, где живет медперсонал, это на той же улице. Нам отводят на втором этаже полторы комнаты, в одной из

них, большей, уже живет врач, она не военнопленная, но была ранена в ногу, хромает. В ее комнате расположились прибывшие со мной. В маленькой, без окон, разместилась я. У них — стол, у меня — тумбочка. Горит электричество. И нет за стеной колючей проволоки.

Все, казалось бы, хорошо, но у нас нет ни хлеба, ни денег. Отправляя нас из лагеря, унтерарцт и не подумал снабдить нас вещевым довольствием. Сытый голодного не разумеет...

На следующий день отправляемся искать комендатуру. Думаем о пайке, на город почти не обращаем внимания, только потом разглядели его. Комендатуру нашли на бульваре Аспазии, над входом много флагов со свастикой. Показываем дежурному свои персональные “волчьи паспорта”.

На оборотной стороне ставят штамп комендатуры и число: “24.VII.1944”.

Спрашиваем, есть ли в Риге какое-нибудь учреждение, отвечающее за здравоохранение? Подсказали: улица Калею, рядом с русским театром. Нашли, нас отвели в какой-то кабинет, где за столом сидел мужчина, доброжелательно выслушавший нас, а потом с милой улыбкой вручивший нам пятьдесят марок. “Пожалуйста, возьмите, — улыбнувшись, сказал он, — когда разбогатеете, вернете.” Это был местный русский доктор Владимир Владимирович Косинский, с его семьей я потом дружила, а с его женой, лаборантом, впоследствии мы вместе проработали тридцать лет.

Купили где-то рядом на немецкие марки хлеба, немного маргари-

на. Вернулись в свои “аппартаменты”, вскипятили кипяточку, поели “заморских” бутербродов. Хорошо, но чтобы насытиться, их надо много.

На следующий день, утром, направляемся в больницу. Познакомилась там с педиатром Марией Гордиенко. Она — ленинградка, говорила нам, что под немцами оказалась в Гатчине, во время отпуска. Когда те стали отступать, они “предложили” ей эвакуироваться в “немецкий тыл”. Выбора не было, пришлось “эвакуироваться”. Большая часть медицинского персонала больницы была из Белоруссии.

Наступила осень. Красная Армия подходила к Риге. Дни мы проводили в больнице, а ночью прятались в подвале. Стрельба, взрывы, ракеты — все это мне, хотя и отдаленно, напоминало Эзель. Говорят о боях в районе Саласпилса.

Гремело, гремело и вдруг... все стихло.

Уже на второй день после освобождения Риги познакомились с контрразведкой — СМЕРШ. Объяснили свое “происхождение” в Риге, заполнили соответствующие анкеты.

А через пару дней приходит к нам в больницу человек. Представляется: врач Борис Каплан, заведующий отделом здравоохранения Ленинского района г. Риги. Объясняет цель прихода: призывной комиссии нужны врачи. Доктор Гурьев отряжает двоих — меня и М.Гордиенко. На следующее утро отправляюсь в Ленинский комиссариат, это в Задвинье, в районе улицы Мелнсила. Далеко от нас. Трамваи даже до реки ходят очень плотно, а там пешком через шаткий понтонный мост, вот-вот обвалится.

Ежедневные переходы из Москов-



Мой “волчий паспорт”. Осень 1942 - 23.07.1944 гг.

ского форштадта за Двину и обратно меня, обессиленную и истощенную, очень утомляли. Помог один из работников военкомата, Леонид Ильич Афанасьев, офицер, недавно направленный в Ригу и скоро получивший рядом со службой трехкомнатную квартиру. До войны он работал начальником отдела кадров в одном из саратовских вузов. Он сопереживал моим рассказам, жалел меня, был ко мне внимателен. Этого человеческого сочувствия я давно была лишена. Был он женат, а тут как раз получил из дома письмо, что жена его ждать не будет, что скоро родит от другого, что подает на развод. Предложил пожить у него, пока я не разыщу своих родственников.

Наступает зима. Каждый вечер Афанасьев притаскивает метровое полено, зажигает “дровину” с конца и запикивает в печку, отапливавшую две комнаты. По мере горения подпихивает полено вглубь.

Я всю свою активность направила на розыск мамы и родственников. Пока никаких следов. И Гордиенко, и мои подруги по Саласпилсу отправились по домам, к своим мужьям; после проверки в СМЕРШе им, да и мне, сказали: “Все, вы свободны. Можете разезжаться по домам, если они у вас, конечно, есть”. А у меня нет ни своего дома, ни родных. Город Новгород полностью разрушен.

Работа в военкомате закончена, и я панически боюсь, что меня снова могут взять в армию. Меня уже поставили на учет офицерского состава, присвоили звание — младший лейтенант (старое — “военврач III ранга” — теперь не действительно).

Пригласила меня хирургом коллеги по призывной комиссии главврача 9-й Рижской поликлиники Минна Яновна Витомская, сестра известного профессора Паула Страдыня. Располагалась поликлиника на территории 2-й городской больницы (теперь им. П.Страдыня).

С 1-го января 1945 года я на новом месте. Хотя я и отвыкла от работы с мирным населением, тем более, с женщинами, но включилась почти без трудностей. Но вот беда. Иные пациенты не совсем доверяли моему профессиональному умению. И вот почему. Местное население привыкло за оказанную медицинскую помощь так или иначе платить: деньгами, продуктами или как-ни-

будь иначе. Но теперь-то, после войны, поликлиника государственная, никто ничего платить не должен. Конечно, с цветами я не отправляла из кабинета, но ни денег, ни продуктов не брала. А хитрые больные спрашивают: “Вы, доктор, почему ничего не берете? Не верите в свои знания?” — и подозрительно смотрят на меня. А я в ответ им безуспешно объясняю, что медицина в Латвии теперь бесплатная.

А вот случай посложнее: прихожу домой, на лестнице перед дверью лежит мешочек муки, килограмма на два. Что делать? С одной стороны — вещь для меня очень ценная, а с другой... Но не тащить же муку на кухню в больницу? Взяла мешочек. Боюсь, что благодарный больной подсматривал тогда за мной с верхней площадки (оставить в те годы такую ценность без присмотра он не мог) и, довольный, потирал руки, глядя, как я скрылась с его подарком за дверьми.

И еще. Был у меня дерматологический больной, сапожник. Экземой были у него покрыты большие участки рук и ног. Долго лечился — без эффекта. Я ему помогла, кожа совершенно очистилась. И он так в меня уверовал, что чем бы ни болели его жена и двое детей, приводил их ко мне. Я делала, что могла, или посылала их к специалистам. В благодарность он сделал мне “царский” подарок, отказаться от которого я была не в силах: красненькие очень изыщные туфельки на высоком каблуке и моего 33 размера.

Никогда не забуду первых стихов, позднее подаренных мне моей больной. Лет ей было двадцать пять, звали ее Дайна. Неуклюжие, и на сти-

хи не очень похожие, они и сегодня трогают меня до слез:

*Моему врачу Т.Н.Ш.  
Тыходишь в палату к нам,  
Ты вносишь свет и тепло.  
Больной, как бы ни был упрям,  
Станет ему хорошо.  
Ты рассеешь любую беду,  
Любую скуку превратишь в радость.  
"Скажите: вылечу я астму?" —  
"Ты уберешь эту гадость!"  
Вот ты склоняешься надо мной:  
"Дыхание чистое". И я это знаю.  
Что будет в будущем со мной —  
Ты знаешь. И я это знаю...*

Как-то в первой половине марта 1946 г. наш доктор Витомская сказала, что была на днях на совещании в горздраве, где выступал главный врач Республиканской станции переливания крови А.Е.Трилисский. Ищет помощника, женщину, энергичную. Можно работать по совместительству. Не хочу ли я пойти переговорить? Считает, что я для него лучшая кандидатура. Пошла. Знакомимся. Оказывается, он из Пскова, но окончил мой институт на пятнадцать лет раньше меня. Мы будто знакомы десятки лет. Я пишу заявление, со следующего дня приступаю к работе. Работают на станции две москвички: зав.отделом заготовки крови О. Ф. Громыко (родственница министра иностранных дел), изо-серолог О.П. Лаврова и коллега О.Ф.Громыко сталинградка Н. В. Макарова. Станция переливания крови — учреждение полувоенное, но я больше не боюсь, что меня призовут — у меня два месяца беременности, правда, окружающие об этом не знают.

Тут поступает еще одно предложение о работе. Через доктора Ма-

ровского меня зовет на переговоры профессор Страдынь. Почему-то тяну. Он настаивает. Пошли к нему домой с его сестрой, доктором Витомской. Профессора нет, его срочно вызвали в больницу. Пока ждем, знакомлюсь с женой профессора, Ниной Федоровной. Она из Петербурга, где учился П.Страдынь. Так и не дождавшись профессора, мы уходим. На прощание Нина Федоровна говорит: "Вы мне симпатичны. Хочу Вас предупредить. Работать с профессором трудно. От человека он требует настолько полной отдачи, что Вы даже семьи не будете иметь. Вы будете работать, работать и работать. У Вас будет карьера, но Вы забудете о том, что Вы женщина". К Страдыню на переговоры я больше не ходила, хотя потом не раз сомневалась в правильности своего решения. Не пошла еще и потому, что хирург я все-таки была специфический — военный, дело имела со случаями особыми — с ранеными. А мой стаж в поликлинике — всего пять месяцев, да и те были не без напряжения. Дело в том, что больные говорили со мной пусть на ломаном, но русском языке, говорили охотно, а я чувствовала, что они хотят, чтобы с ними все-таки говорили по-латышски. Помочь им в этом я тогда не могла. Может, я и ошибалась, может, это я хотела говорить с больными на их языке. Я старалась.

Случилось главное — нашлась мама. Сама, не предупредив меня, хотела сделать мне сюрприз, приехала в Ригу, привезла нашу семейную икону "Знамение". Пошли слезы радости. Но мама сразу заметила мой округлившийся живот, посмотрела на

него с удивлением. Было понятно что фразу “я, какая была” из того давнего письма теперь нужно вымарать. Контакт с Леонидом Ильичом у нее возник не сразу, хотя он отнотосился к ней очень уважительно и предупредительно.

Уже в 1946 г. разыскал меня Н.А.Титов. Жил он, уставший от войны, в Удмуртии, на станции Балезино (такое вот ранчо). Вот его письмо:

“24.05.46.

*Тамара Николаевна!*

*Ваше письмо мне вручили в операционной. Как это было красиво, и радостно, и знаменательно. На встречу с Вами я потерял всякую надежду и мне рисовались уже картины, вернее, возможные варианты Вашей трагической гибели. К счастью, все это не так — Вы живы и Вы работаете...*

*Вы спрашиваете, почему я так далеко заехал? Да, действительно, далеко. Заехал “во тьму лесов и в топи блат”. Получилось это таким образом: после демобилизации из армии в январе 1946 г. я приехал в Москву, в НКЗ РСФСР. Надо сказать, что после встречи с Вами у меня настал период жизни, когда я попал в водоворот войны, и войны большой. Грохот разрывов, огонь, и дым, и фейерверки ракет еще и сейчас у меня стоят перед глазами, видятся и слышатся мне. Чем дальше, тем это все становилось напряженнее, интенсивнее, все это возрастало в темне “allegro”, м.б. даже “allegrissimo” (если есть такой термин — не знаю, правильно ли его написал). Потом это все оборвалось. 17.04.45 — напряженнейший день, затем еще три дня, и все вдруг стало тихо, спокойно: во всей округности враг был уничтожен*

*полностью или пленен. Война занесла меня далеко в Германию. Так вот этот грохот стоял еще у меня в голове, когда я приехал в Москву, в НКЗ, и я попросил себе места куда-нибудь потише, поспокойнее. Жить в центрах для меня было бы тяжело. Меня раздражал грохот трамвая, шум автомобиля. И я попросился на Каму. Мне дали командировку в гор. Ижевск, о котором до тех пор я имел очень мало представления. Я приехал в Ижевск в феврале 1946. Это город старый: масса маленьких домиков, с сараями, хлевами, банями, огородами, и в то же время город новый: крупные заводы и Сити (прекрасно выстроенные небоскребы в центре города). Много электрического шума. Меня принимал нарком и предложил работать в г. Ижевске, в ин-те восстановительной хирургии. Я отклонил предложение и поехал на север республики в Балазино, и не жалею. Больница небольшая, но оперировать можно все, что захочешь...*

*Но кроме этого, на Каму меня тянуло желание построить дачу, приобрести садик с яблонями и вишнями. Помните: это мои старые планы, Вы мне еще помогли создавать их, у меня сохранился еще план моего будущего домика, моего “ранчо”, нарисованный Вашей рукой. Но я ошибся: на Каму я не попал, а попал на Чепцу, яблони и вишни здесь не растут, поэтому через год я поеду на юг, думаю ехать в Ставрополь. Вы спросите меня, а как же хирургия, и с профессурой. Не очень тянет меня к кафедре, не манит меня это, сейчас, по крайней мере; я еще буду отдыхать здесь и несомненно построю дачу на юге. М.б в дальнейшем и соберусь куда-нибудь поехать, в*



какой-нибудь институт, а м.б. и нет. В этом году, в ноябре, думаю защитить свою кандидатскую диссертацию и начать докторскую...

Теперь о знакомых, видел многих Ваших знакомых, по о.Эзель, медиков. Коля Бауэр, его я встретил в Ленинграде, награжден орденами Кр.Знамени, Кр.Звезды и Отеч. Войны... Встретил фельдшера Сергея Миронова, инженера Россовского — они живы и здоровы. Демобилизовались.

Ну разве все можно передать в письме, надеюсь Вас встретить и поговорить лично, лучше всего осенью 1946 г. в Ленинграде.

Теперь относительно Риги. Если я не ошибаюсь, зам. министра Латв. ССР — д-р Адольф Краус, мой товарищ по институту. Ехать в Ригу? Не знаю. Хочу отдохнуть и построить дачу, хочу прежде видеть Вас. Пишите, когда Ваш отпуск и где Вы его проведете? Поездка на юг? В этом году не еду. М.б., на будущий год. Жду нашей встречи с нетерпением, всегда при этом вспоминаю встречу, которая описана в романе Уэдсли "Кровь и песок", и не хочу, чтобы она, наша, была такой...

Я рад, что Вы не оставили работу об отравлении метиловым спиртом... Вы работаете в ин-те переливания крови, хотел бы Вам дать интересную тему, но — при условии соавторства. "Дружба дружбой, служба службой".

Сейчас пишу Вам письмо и слушаю оперу "Пиковая дама" из Москвы, из Большого театра. Тишина, покой, хорошая работоспособность.

Жду Вашего ответного письма.

Ваш, дружески к Вам расположенный

Титов...

P.S. Я уже выпил, сейчас еще выпью за Ваше здоровье.

P.S.S. Относительно антитода при отравлениях метиловым спиртом: свяжитесь с биохимиками, они должны много знать, что-то вводить в кровь надо. В Нюрнберге я наблюдал отравление тысячи человек, из них умерли 428. Все это за три дня. Все они умерли или слепли очень быстро.

До следующего письма!"

Тогда же получила письмо от З.П.Фирсова, он служил в Москве, спрашивал, не собираюсь ли я туда или в Ленинград. В Ленинград я очень хотела, но не было возможности.

Приближалось время родов. Хоть я и врач, но послушалась одной приятельницы, которая посоветовала как профилактику родовых болей (я их очень боялась) сидячие горячие ванны, что чуть не стоило жизни ребенку. 28 сентября 1945 года, почувствовав схватки, пошла с Леонидом Ильичом в больницу, где впервые в жизни оказалась у гинеколога. 30 сентября 1945 г. родился мальчик. Роды были затяжные, и если бы не доктор Калманович...

Я, конечно, хотела девочку. Сколько бы я могла рассказать ей, подготовить к будущему. Имя ребенку дала такое, какое могла иметь и девочка: Женя, Евгений. Мне 27 лет.

Ребенка крестили. Мама не могла представить себе, что крещения быть не может.

Послеродовой отпуск быстро кончился. Я и придти в себя не успела. В сентябре, учитывая мое состояние и истощение, дали мне путевку в Кемери. В тот заезд собрались там отменные пианисты: Я. Флиер, Э.

Гилельс, Я. Зак. Много медиков.

Зак как-то сторонился нашего общества. Эмиль Гилельс иногда охотно играл со всеми в теннис, проиграв, ползал под столом. На выступлениях для отдыхающих он играл с такой силой, что белый концертный рояль не выдерживал: не помню точно, не то клавиши отлетали, не то слоновая кость с клавиш, но что-то отлетало.

А вот Флиер. В одной из комнат стояло фортепиано, возможно, репетиционное. Флиер сажал меня в этой комнате на подоконник, садился за инструмент, играл, сколько и что я захочу. Когда он брал последний аккорд, глазные яблоки куда-то проваливались, глазницы казались пустыми, потом он вообще закрывал глаза, бросал руки плетью вниз. Мне было даже страшно смотреть на него. Жил он в “люксе”, и однажды я, не постучав, вошла в номер. Он с какой-то виноватой улыбкой быстро захлопнул дверцу потайного шкафчика, возле которого я его неожиданно застала.

Мне обещают командировку в Ленинград, в институт переливания крови, поговорить о диссертации. Малыш уже бегаёт. Я могу его оставить на маму и отца и наконец-то ехать.

Встречает меня З.П.Фирсов, он здесь в командировке. Я писала ему, что буду в Ленинграде. Из родных у меня здесь никого не осталось: уехали или погибли в блокаду. Привез меня Фирсов в гостиницу “Европейская”. Пошли ужинать. После ужина поднялись в его номер. Бурным восторгом и нежным объяснениям, казалось, не будет конца. Я устала, хотела спать, легла. Он сделал попытку пристроиться рядом.

“Нет, — сказала я, — ложись на диван. Ты ведь знаешь, у меня есть ребенок”. На диван он не лег, растянулся на коврик возле кровати (рост, напомним, под два метра). Искал мою руку, гладил ею свои щетинистые щеки, они заросли у него часов через шесть после бритья. Целовал руки, ступни ног. Его экзальтированность мне была хорошо известна еще по довоенным Сланцам, когда он в нательной рубашке катался по снегу, изображая страсть. Ночь проходит, уснуть не дает, все время шепчет: “Сбрось тормоза!... Освободись от пут, сдерживающих тебя!...”

Днем я в институте, после бессонной ночи плохо соображаю.

Вторая ночь проходит так же, но с некоторыми нюансами. Он изнемогает, бегаёт под холодный душ в ванну, умоляет сжалиться. Мне тоже нелегко...

На третью ночь он уже не ложится на коврик, а садится на край кровати. Говорит: “Я догадываюсь, почему ты такая. В плену ты, наверное, болела одной из “изящных” болезней. Ну что ж, я потерплю еще. Постараемся остаться друзьями”. А я лежу и думаю: “Я ведь тогда, в 41-м, представляла его комиссару и друзьям как мужа, даже отпуск под “мужа” получила, а теперь разыгрываю из себя святошу, выслушиваю очень обидные для себя подозрения. Все, хватит!” Потом мы были вместе..

Утром он предлагает мне руку и сердце, говорит, что мой ребенок не будет помехой. Я же трезвым уже умом рассуждаю: была в плену, моя биография испортит ему карьеру, а может, и жизнь. И вообще... Убеж-

даю его со мной согласиться. Он же непреклонен. Я говорю: “Давай пождем, время терпит...” Он: “Хорошо, давай только поедем вместе на юг, за месяц ты проверишь себя. А я проверил себя пять лет — мои чувства не изменились!”

Закончилась командировка. В институте продумываем с моим научным руководителем, профессором А.Н.Филатовым, что мне делать дальше. С планами на научную работу возвращаюсь в Ригу и до отпуска целиком ужою в работу.

А в отпуск еду на юг, “проверять свои чувства”... Фирсов уже там, у него путевка в военно-морской санаторий в Гаграх. Для меня, для нас, он снял комнату, объявив, что мы семейная пара. Каждый свободный час “пляжмся”. Изобилие фруктов. Облазили все окрестности. Я почти забыла о войне, о концлагерях. А любви и нежности я тогда ощутила столько, что, думаю, воды в Черном море было меньше... И у меня “девятый вал” нежности, но я ее всегда стеснялась.

В Москву мы возвращались не самолетом, а поездом. Фирсов купил купе целиком. Ему казалось, что поезд продлит нашу встречу.

Возвратилась в Ригу и вызвала из памяти Саласпилс. Пытаюсь научно оформить свои давние наблюдения над лечением сорока больных, отравившихся там метиловым спиртом. Все сорок, стремившихся “утешиться” алкоголем, умерли или ослепли в лагере-лазарете у меня на глазах.

Но заниматься регулярно наукой не удается. Слишком много сил и времени занимает дом, работа. Служба переливания крови, трансфузиология, становится все более и более

нужной. Хотя война, с ее огромными потребностями в переливании крови, уже позади, но начинала расширяться гематологическая помощь. Оказалось, что в Латвии имеется много больных с заболеваниями крови (“краевая патология”), о которых раньше и не подозревали, так как не умели диагностировать подобные заболевания, особенно на их начальной стадии.

По инициативе доктора Трилесского А.Е., главного врача Республиканской станции переливания крови, мы с ним написали обоснованную докладную Министру здравоохранения ЛССР о необходимости открытия на базе 2-й больницы (ныне Республиканской клинической больницы им. П.Страдыня) гематологического отделения. Решение было положительное. Открыли 16-е отделение, гематологическое. Заведующим назначили доктора Яворковского Лазаря Израилевича. Он старше меня на десять лет. Терапевт, но работал в большой лаборатории, преподавал в школе лаборантов. С началом войны попал в гетто, потом был отправлен в Германию. Его отец и жена были врачами, расстреляны немцами, как и его мать. Вернувшись в Ригу, он, который имел непреодолимую страсть к науке, пошел работать в большую новую лабораторию, а теперь вот назначили его завом. Ко мне он относится неопределенно. Случай сближает нас.

В отделение поступает очень тяжелый больной — сотрудник КГБ Латвии. Из этого учреждения его навещают ежедневно. Ставим диагноз. Но хотим получить подтверждение

опытного гематолога. Если что — ведь и доктор Яворковский, и я — оба были в концлагере... Через министерство здравоохранения узнала, что в Кемери отдыхает профессор Х.Х. Владос, заведующий гематологической клиникой Центрального института переливания крови. Понеслись к нему, взяли мазки крови больного, в том числе и из грудины (стерильный пунктат), микроскоп. Наш диагноз — острый гематобластный миелолейкоз — подтвердился, и с этого дня Лазарь Израилевич стал проявлять ко мне особую симпатию.

Приближается очередной отпуск. З.П.Фирсов опять зовет на юг. Он и сам неоднократно приезжал в Ригу, останавливался в гостинице... В дом я его никогда не приглашала. Он уже полковник медицинской службы, но почему-то в петличках нет, как и не было раньше, нашего знака: чаши со змеей. Опять разговоры о замужестве. Я говорю, что он так быстро шагает по служебной лестнице, что скоро увижу его генералом. “Конечно, — говорю, — генералом ты станешь, только без меня, со мной, моим прошлым, генералом тебе не быть!” А он говорит, что не звезды ему нужны, а я, что хватит мне сидеть в Риге, что пора ехать в Москву, по-настоящему заняться наукой... какие там возможности! А я все раздумываю. Решаю: нет! Ему нужна карьера, со мной ему генерала не видать... А любовь, это, как пишут в романах, необузданное чувство, любовь ведь вечно продолжаться не может... Зовет на юг... Надо подумать... А наукой можно и здесь заниматься.

У меня, заведующей донорским

отделом, возник на работе научно-практический вопрос “о количестве протеинов в сыворотке крови доноров в зависимости от питьевого режима”. Мы с Л.И.Яворковским по вечерам сидим в лаборатории над ее решением. Выводы докладываются на больничной конференции. Доктор Эзериелис восхищен возможностями новой для Латвии науки: “Да! Вот это первая красивая ласточка!”

Л.И. Яворковский был очень доволен такой оценкой моего доклада, явно мною гордился. Он часто ходил на мои выступления, даже не связанные непосредственно с наукой, сидел в зале, бурно мне аплодировал, преподносил цветы, дарил книги с надписью “от шефа”, музицировал на фортепиано, фотографировал меня. Жил он в главном здании больницы, над приемным покоем. Симпатии Лазаря Израилевича ни для кого не являлись секретом. Да он их и не скрывал. В то, что отношения наши сугубо платонические, никто не верил. Как-то раз он сказал мне: “Если когда-нибудь у меня будут дети и внуки, и они попросят рассказать самую интересную страничку моей жизни, я расскажу им о нашем романе”. Но был период очень серьезных намерений с его стороны. Он бывал у нас дома, обворожил маму. Лазарь Израилевич уже строил далекие планы, говорил о том, как он с моим сыном будет заниматься языками, что нам нужно, по меньшей мере, еще двое детей, что следует торопиться ему с докторской, мне пока с кандидатской. Все было хорошо до тех пор, пока он планы свои не высказал маме. Тут же после его ухода она сказала мне с жестким выраже-

нием на лице: “Если ты выйдешь за него замуж, я уеду. Я не хочу иметь от него внуков. У нас в роду такого не было”. И это при всем том, что мама действительно обожала Л.И., да и ее ближайшие две подруги были еврейки.

Мы очень тепло дружили с Лазарем Израилевичем до самой его смерти, наступившей спустя почти сорок лет после нашего знакомства.

Заведующим он был довольно строгим. Никаких поблажек. Работать мне одновременно и в больнице, и на станции переливания крови было нелегко. А тут еще дежурства по санавиации, суточные дежурства в больнице. Единственное, что утешало, — сын рос здоровым и крепким ребенком. Но я устала от напряженной работы, внутренних переживаний.

Поеду все-таки на юг. Встретил меня, конечно, Фирсов. Страшно злой. Он уже десять дней здесь “торчит” и держит комнату “для семейной пары”. А он “солдат”, опаздывать из отпуска не имеет права. И то, что время потеряно, что ему приходится уезжать раньше меня, приводило его в такую ярость, что он метался, как запертый в клетку лев.

Потом утих. Снова вел разговоры о совместной жизни, говорил, что рано или поздно мы все равно будем вместе, хоть жизнь доживать, но вместе. Улетел в Москву. Как ни странно, не уговаривал туда ехать с ним, “разрешил” остаться доотдыхать. Из “семейной” комнаты я переехала в дом к медсестре одного из санаториев.

И вот хожу я одна, в задумчивости... Иду как-то завтракать в детское кафе, навстречу идет мужчина,

страшно неряшливо одетый, в стоптанных тапочках, по виду, как говорят сегодня, типичный бомж. Поровнявшись со мной, спрашивает, сколько времени. Я смотрю на часы. Вдруг он выхватывает у меня солнечный зонтик, раскрывает его и говорит, подавая мне руку: “Давайте познакомимся. Мы под крышей, и никто не скажет, что это уличное знакомство”. Такая вот прелюдия. Проводил до кафе, сел рядом за мой столик. Сказал, что живет в Москве, что по специальности литературовед, занимается Горьким, академик. Я усомнилась: для академика возраст не тот, да и вид... живет, как он сказал, в коммунальной квартире, хотя ему неоднократно предлагали отдельную... Потом встретила его на пляже, уже не таким зачуханным. Окружала его там довольно большая компания: редакторы столичных газет, писатели, журналисты... Все, кроме него, с дамами.

У кого-то из этой компании вскоре после нашего знакомства был день рождения. Открывали на пляже вино, и фонтан красного шампанского окатил мой белый с синими полосками “матросский” халатик. Мне было жаль халатика. Говорю “академику”: “Раз Вы меня втравили в вашу компанию, исправляйте положение! Надо спороть синие полоски и отдать халат в чистку!” Надо было видеть, с какой яростью все мужчины набросились на мой халатик спарывать полоски! От этого “трудового энтузиазма” мне сначала было даже немного не по себе... Понесли в срочную химчистку, потом мужчины отдали пристроичить полоски обратно, и уже через день я снова “щеголяла” в халатике.

“Академик” рассказал мне, что он вдовец, был женат на своей студентке, страшно ревнивой, она бросилась под поезд. Я не знала, чему верить. Видела только, что он каждый день ходил в книжный магазин, рылся на полках, что-то покупал. Уже ближе к моему отъезду мы оказались вечером вместе на набережной, любовались лунной дорожкой. Тишина и покой. Вдруг он резко повернул меня лицом к себе и сказал: “Если бы Вы согласились заполнить мою будущую квартиру...”

Господи! Я попыталась превратить разговор в шутку, не получается. Тогда я рассказала ему о пережитом мною, о войне, о концлагере. Такая вот форма самозащиты. Он отступает... Потом часто звонил в Ригу, время от времени напоминал о “квартире”... помог с отзывом моей соседке, защищавшей диссертацию по Горькому.

Однажды вернулась домой с работы, а посреди кухни на стуле сидит мама, у нее на спине — мой не достигший еще пяти лет сын, Женя. Встать мама не может. Вдвоём с Леонидом Ильичом уложили ее в постель, через день отвезли в больницу, в мое 16-е отделение. Вместе с Лелей (Л.И.Яворковским) обследуем ее. Диагноз печален — миеломная болезнь, все плоские кости имеют вид изъеденных молю. Возвращаемся домой. Надо искать домработницу-няню. Взяли почти первую попавшуюся, по “рекомендации” моей коллеги, мечтавшей избавиться от нее. Жизнь с ней была сухой каторгой. Позавтракав, она закрывалась в отдельной комнате на ключ, курила там напрапую, пропускала рюмочку-другую. Не выхо-

дила из комнаты даже на зов больной. Судно подавал ребенок. Я уходила на работу и не знала, что застану, когда вернусь... Чистый Саласпилс, где доводили больных и раненых до смерти отсутствием ухода за ними. Кое-как от нее избавившись, мы нашли другую женщину, очень обходительную и хорошо ухаживавшую за сыном и больной мамой. Все бы хорошо, но она устроила в доме дневной “дом свиданий” со своими часто меняющимися возлюбленными. И при этом не могла удержаться, чтобы не угостить их получше. Приходим вечером с мужем домой — есть нечего. И не то чтобы после трех лет голодного концлагеря я стала прожорливой, нет. Но в доме должна быть еда, когда бы мы ни вернулись домой!

В январе 1951 г. моя мама, мучаясь сильными болями в костях, головными болями, умерла. Умирала в полном сознании. Всех благословила и попрощалась. Это случилось в канун Рождества. Лежала она дома. Сын забрался за гробовую крышку, прислоненную к стене, и не хотел оттуда выходить, требуя, чтобы бабушка встала. Хоронили маму в самый праздник, отпевали сразу после литургии. Я очень переживала потерю мамы, казалось, с ее жизнью ушла и моя жизнь. Леонид Ильич и Л.И.Яворковский не знали, как меня утешить. Очень помогла мне пережить этот тяжелый период и Дуняша, которую временно “одолжили” мне в одной знакомой донорской семье. Это “временно” растянулось на несколько лет, почти до смерти Дуняши.

Стала снова ездить в Москву по своим диссертационным делам, на се-

минары в Центральный институт переливания крови, на конференции, съезды. На одной из конференций АМН ССР, где был запланирован мой доклад, села рядом с какой-то женщиной, она оказалась профессором-гематологом из Варшавы, лет пятидесяти. Познакомились. Смотрю, она внимательно разглядывает ряды академиков, сидевших отдельно за длинным эллипсоидным столом. Я уже знала ведущих советских специалистов в своей области, готова выступить гидом. Но ее интересует другое. “Послушайте, — говорит она, — почему в Советском Союзе все мужчины или лысые, или крашенные? Седых, даже седеющих, нет!” Я ответила ей, что этот зал не показатель, что здесь собрались люди довольно обеспеченные, которые могут себе позволить краситься каждый второй день. А наши ученые — люди особые, они даже на старости лет хотят нравиться женщинам.

Тут как раз наступило время моего сообщения. Регламент — три минуты, отключают микрофон на полуслове. Говорю, чувствую, не укладываюсь. Истекли мои три минуты — не прерывают, дали договорить до конца. В перерыве меня похвалил академик А.А.Багдасаров, директор Центрального института переливания крови. Шутит, говорит, что старички, заглядевшись на меня, даже забыли отключить микрофон. Себя-то он, конечно, считает молодым.

Надо сказать, что в эти затянувшиеся послевоенные годы (они кончились лет через десять после войны) люди как-то спешили жить, старались как бы наверстать упущен-

ное. При поступлении женщин на работу в научные заведения, в аспирантуру в иных институтах часто преимущество имели не столько талантливые, сколько красивые, а еще лучше — если в них совмещались и талант, и красота. Случалось, что директора институтов держали для своих сотрудников-женщин парикмахеров, даже портних. Весьма в ходу был и “синдром Завалишина”, с которым я впервые столкнулась в 1940 г.: “...или будем встречаться, или Вам надлежит отправиться служить к черту на кулички...”

Как-то в Москве, на семинаре у Багдасарова, вдруг почувствовала хорошо знакомые мне по 1941 г. боли — оживился аппендицит. Меня собираются в срочном порядке оперировать. Я все еще боюсь наркоза. Знаю, что теперь мне не убежать с операционного стола, прошу сперва испробовать уже проверенное мною лечение — “холод, голод и покой”. Решили подождать до утра, а к утру (о, ужас!) уже оформился инфильтрат. Значит — резать нельзя. Отлежалась в клинике — обошлось без операции. По распоряжению акад. А.А.Багдасарова мне предоставили отдельную палату. Вечером, после работы, он заглядывал ко мне, гладил по голове, галантно целовал руку. Наутро мой лечащий врач — аспирант из Азербайджана — всегда вежливо стучался, прежде чем войти ко мне в палату.

А у меня дома — опять беда. Вскоре после смерти мамы, накануне поступления в школу, сын заболел бронхиальной астмой. Он не спал, и мы с мужем не спали, распыляли ингалятором лекарство. После бессонной ночи сын должен ид-

ти в школу, мы на работу. За сыном по утрам заходил его одноклассник, который жил в нашем доме, а сын кричал мне: “Мама, не пускай его!” — он стеснялся показать ему свое отекавшее за ночь лицо. Вспоминаю это время с дрожью, как будто только что все это пережила.

На работе я уже не могла быть такой активной, как прежде. Ходила как вареная муха. И совсем было не до науки. Свои диссертационные дела я почти запустила. Но кандидатские экзамены решила все-таки сдать, уже много позднее. И тут, через двадцать почти лет после институтской “четверки”, получила таки по истмату-диамату “пятерку”.

Много работаю в отделении и на станции. В Латвии катастрофически не хватало доноров. Здесь оказалось очень трудно привлечь население к этой гуманной миссии. Было решено сделать о донорах сюжет в киножурнале “Советская Латвия”. Директором Рижской студии кинохроники был тогда Г.В. Шулятин, еще в недавнем прошлом ленинградский кинооператор и режиссер. Так я познакомилась с человеком, с которым меня связали не только общие интересы, но и общее прошлое. Во время войны Герман Владимирович был кинооператором, снимал на Ленинградском фронте, был там тяжело ранен. У него был особый взгляд (киновзгляд) на события тех дней, и он помог мне во многом по-новому взглянуть на пережитое мною. Кроме того, по роду своей деятельности он встречался со многими видными людьми — например, с С.М.Кировым, А.Толстым, О.Форш, А.Иоффе, Н.Марром, фармакологом Зелинским, и его рассказы о них, их деятель-

ности помогали мне представлять мир, в котором я жила, как-то более зрительно и объемно. Не менее интересны для меня были и его московские и ленинградские друзья, с которыми я знакомилась в Юрмале, на его даче, которая находилась неподалеку от нашей.

Казалось бы, все налажено. По числу доноров на душу населения служба крови Латвии уже в течение шести лет занимала ведущее место в СССР. У меня интересная работа, семья, муж, сын, собираемся строить дачу в Саулкрасты (так и не знаю, построил ли свое “ранчо” доктор Н.А.Титов). Можно не так часто вспоминать о пережитом на Эзеле, в концлагерях. Но я не могу и не хочу забыть об этом. Да мне и не дают. Концлагерь — это какая-то каверна в легких, и никак не вздохнуть полной грудью. И это при том, что внешне отношение к бывшим заключенным фашистских лагерей весьма и весьма почтительное (характерно, впрочем, что срок пребывания в концлагере в трудовой стаж не засчитывался). Но никогда не подходил ко мне парторг со словами “пора Вам, Тамара Николаевна, подумать о партии”, даже “Заслуженного врача ЛССР” так и не присвоили, хотя все документы для этого были уже поданы в райком партии. Мне прямо сказали: “Нет! Вы не состоите в партии, Вы были в концлагере”.

Да! Была в концлагере! А кто оставил нас, раненых и медперсонал, одних на Моонзунде? Разве мы не до конца исполнили там свой долг? Вот отрывок из письма моонзундца М.Артюгива:



“7.05.66.

*Здравствуйте, Тамара Николаевна!*

*Я тоже получил из Ленинграда письмо от секции моонзундцев 1941 г., анкету и обращение с просьбой поделиться воспоминаниями...*

*Описал все и всех, кого знал и помню, что видел. Но ведь, Тамара Николаевна, прошло с тех пор почти четверть века! А память человеческая так несовершенна! Поздно они взялись за это дело, но, как говорят, “лучше поздно, чем никогда”.*

*В своих воспоминаниях я коснулся вопроса и о госпиталях, в том числе, и о врачах. Я отметил мужественное поведение и до конца исполнивших свой долг военных врачей В.А. Табакова, А.А. Никифоровой, Т.А. Широленковой, В.И. Бондаренко, военврача 3-го ранга Злотникова, Черемухина, Б.С. Левина, П.П. Степанова. Написал, может быть, немного резковато, может быть, и не всем там в секции понравится это; что сотни раненых, брошенных на произвол судьбы, обязаны жизнью именно этим людям. Ведь это правда”.*

Против моих регулярных научных и научно-практических поездок в Москву, правда, никаких возражений нет, даже дважды представляли меня для участия в Выставке достижений народного хозяйства СССР, дважды получила там медаль “За заслуги в народном хозяйстве”.

На одном из моих докладов в Москве присутствовал Алеша Черных. Он — директор института нормальной и патологической физиологии АН СССР, но все с той же неизменной “Лейкой” или каким-то другим фотоаппаратом. После утреннего заседания мы уехали с ним на ВДНХ, много фотографировались. О

чем говорим? Сперва о науке, потом опять о той последней нашей прогулке вместе с Черкасовым по Невскому проспекту, когда я глупо сказала “нет”. Детей у него нет, жена... Живет с ними полусумасшедшая теща. Он умер дома, рядом никого не было... Жена уехала на дачу...

А осенью 1967 г. умер Леонид Ильич, мой муж. Весной того же года он перенес инфаркт, лечился в больнице, потом уехал в дом отдыха. Там, в биллиардном зале, и умер. Взмахнул кием и умер. Я приехала в дом отдыха по “осторожному” телефонному звонку, поздно вечером. Мне дали грузовую машину, бросили туда матрас, положили на матрас мертвого мужа... Поехали мы с ним вдвоем в Ригу...

Только пришла после похорон домой, как позвонил Герман Владимирович, вернувшийся из Болгарии, где он отдыхал на Золотых Песках. С возмущением сказал в трубку: “Звоню-звоню, никто не подходит! Что у вас там, вымерли все, что ли...”

Тут же приехал, утешал. И мне было так странно видеть загорелого, пышущего здоровьем человека и вспоминать при этом о только что зарытом в могилу человеке на пять лет моложе его, тоже хорошо выглядевшего и очень жизнерадостного.

Остались мы вдвоем с сыном. Ему двадцать два года. Рос он хорошим мальчиком, особых хлопот мне не доставлял, разве что здоровье его еще не вполне стабилизировалось, аллергический фон продолжал сохраняться.

Здоровье, верила я, наладится. Но мальчику нужна мужская рука. Я ведь, практически, выросла без от-

ца и понимала, чего я, девочка, была лишена. А тем более он — мальчик...

Кроме того, появилась еще одна проблема — что делать с дачным участком, а участок мне достался отменный — ровный как стол, заросший клевером, с земляным перешейком между канавами. Отказаться от него? На помощь пришел Герман Владимирович с его неиссякаемой энергией, хотя он и был старше меня на двенадцать лет. Помогал он, помогал строить мой “дворец”, а потом стал настойчиво говорить о том, что любит меня, о женитьбе, о том, что будет хорошим наставником моему сыну. С ним он был давно знаком. Однажды, когда мы с сыном, по совету врачей, жили летом на окраине Валмиеры, дышали сухим сосновым лесом, Герман Владимирович снимал там спортивный праздник. Смотрит, на заборе сидит мальчик. Он его увидел и спрашивает: “Тебя зовут Женя?” — “Да”. — “А маму? Тамара Николаевна?” — “Да. А как Вы узнали?” — “У тебя мамины глаза!” Они подружись.

Я долго раздумывала, что мне ответить Герману Владимировичу? В конце концов ответила “да”.

Вот подошел день регистрации нашего брака — 28 апреля 1971 г. Заказали машину, поехали, свидетелем был только мой сын. На мне серенький костюмчик (не шить же подвенечное платье...). Зарегистрировались. Снова садимся в машину, а водитель стоит, чего-то ждет. Наконец, спрашивает: “Долго еще ждать? Где же молодые?”

На свадебном застолье были только самые близкие друзья: крестная

мать моего сына Мария Никанорова Траутынь (еще до Первой мировой войны она приехала в Ригу навестить сестру и вышла здесь замуж), моя подруга Надежда Владимировна с мужем, профессором С.П.Ильинским, главный врач Республиканской станции переливания крови А.Е.Трилисский с женой, несколько друзей и учеников Германа Владимировича, в том числе и известный сегодня кинорежиссер Алоиз Бренч.

Поехали в Крым, не то знакомиться с его родными (мать у него — гречанка, отец — русский), не то в свадебное путешествие. Ехать в Крым, по правде говоря, мне не очень хотелось. С Крымом у меня многое было связано в прошлом, в том числе, и мои с сыном постоянные поездки туда на лечение. Но поехала. И очутилась в другом, мало мне знакомом месте, как бы увидела его глазами свободного человека, да еще в сопровождении такого “проводника”, каким был Герман Владимирович, севастополец.

Едва успела вернуться домой и приступить к работе (мне пришлось тогда замещать главного врача службы крови республики), как узнаю, что на Рижском фарфоро-фаянсовом заводе после дачи крови умерла донор. Поехала немедленно на завод, там мне рассказал ее коллега-донор, сдававший с ней вместе в этот день кровь, что шла эта женщина по коридору, вдруг у нее закружилась голова, она упала, скатилась со ступенек и умерла. Впоследствии выяснилось, что донорам, после дачи крови, как обычно, дали обед, в который входили и положенные донорам сто граммов кагора. После обеда двое из моих доноров реши-

ли “добавить”. Вместе с друзьями они забрались в шахту неработающего грузового лифта. Вдруг лифт заработал, пошел вниз. Все бросилось наружу, а она не успела выскочить, лифт придавил ее в шахте. При вскрытии обнаружилось множественные переломы ребер, позвоночника...

Обвинения в адрес службы крови были сняты.

Пришла после вскрытия на работу, чувствую — у меня в глазах двоится... Гипертонический криз...

В больницу я, конечно, не пошла, вернулась домой. Стало хуже. Госпитализировали. Поставили диагноз: субарахноидальное кровоизлияние (под мозговые оболочки). Лежу... Я в полном сознании... Сестры ходят с заплаканными глазами, не понимаю, почему они плачут. Спрашиваю: “Почему плачете?” Отвечают: “Жалко вас...” Понимаю, что умру, представляю свои похороны, уже готова дать распоряжение относительно их устройства. Совершенно спокойна.

Каждый вечер в больнице Герман Владимирович. Стоит на коленях у моей кровати и тихо умоляет: “Не умирай! Только не умирай!”

Мое состояние все ухудшалось, врачи решили использовать последний шанс — операция на мозге. Меня предупредили. Тут я, конечно, не могла не вспомнить, как совсем недавно на операционном столе буквально зарезали мою коллегу, главного врача службы крови Прибалтийской железной дороги. У нее остался сын Вадим, без отца и матери...

Накануне операции Герман Владимирович ушел из больницы в два

часа ночи. И в дверях сказал еще раз: “Только не умирай!.. Ради Бога, не умирай!”

...И свершилось чудо. Наутро мне стало легче. Операцию отменили. Герман Владимирович был так рад улучшению, что даже забыл о том, что он коммунист, вырвалось у него: “Благодарю Тебя, Господи...”

Я стала поправляться, занимать себя воспоминаниями. Вспомнила, как незадолго до моей болезни к нам приходила наниматься на работу Галина Александровна, молодая женщина, сотрудница Института органического синтеза, одного из самых престижных институтов АН ЛССР. Я спросила ее: “Зачем же Вы хотите идти к нам, фактически, на производство. Ведь в Ваш институт, к академику Гиллеру, многие просто мечтают попасть”. Она ответила, что в институте мало платят, а она хочет одеваться. Оставила свой телефон, и мы собирались позже еще раз встретиться, вернуться к разговору.

И тут, в больнице, я подумала: а не познакомить ли Вадима, сына моей покойной коллеги, с Галиной Александровной? Вадиму пора жениться... Мысленно я уже познакомила их. Поделилась моими замыслами “свахи” с Германом Владимировичем. А он довольно резонно ответил: “Может быть, стоит подумать о своем сыне, о Жене, ведь ему уже 27 лет!” И тут же предложил, чтобы я позвонила этой молодой женщине и попросила ее навестить меня в больнице, а они с Женей тоже придут сюда, чтобы познакомиться с ней.

Галина Александровна пришла с большой бардово-золотистой хризан-

темой. Моему сыну она понравилась, Герману Владимировичу тоже. Он сказал, что теперь я должна сказать Жене свое материнское слово, а он даст ему свой мужской совет. Одним словом, свадьбу решили назначить вскоре после моей выписки из больницы, накануне каникул Жени (он работал в школе учителем английского языка). На его свадьбе у меня было такое ощущение, будто не мой сын, а я сама стою под венцом и сама несу ответственность за выбор.

А спустя год с небольшим, в феврале 1973 года, я потеряла Германа Владимировича. Ушел он внезапно, не попрощавшись, обняв меня в состоянии сердечно-болевого приступа... Только накануне осенью, когда уезжали с дачи, на строительстве которой мы все вчетвером “вкалывали” и как подсобники, и как огородники, он остановился, оглянулся на дом и сказал: “Ну что ж, если со мной что-нибудь случится, вы уже под крышей...”

Господи! Какая же я невезучая... И еще одна мысль: если кто из мужчин хочет быстрой и легкой смерти — может жениться на мне...

После смерти Германа Владимировича я долго находилась в депрессии, она была настолько сильна, что я, всегда такая общительная, никого не хотела видеть, полное отсутствие контакта.

С трудом вышла из этого состояния. Стала постепенно втягиваться в работу.

А потом пошли юбилеи, один за другим. Вот мне шестьдесят, вот уже семьдесят! Да отличается ли один юбилей от другого? Вот как ответить мне на этот вопрос коллеги:

*Когда сидели Вы за партою с подружкой,  
То не спеша шли годы друг за дружкой.  
Когда закончен медицинский институт,  
То поняли: не ходят годы, а бегут.  
Затем война, работа много лет подряд.  
И стало ясно Вам, что годы не бегут,  
Они — летят...*

И на тот, и на другой юбилей мне подарили почти одинаковое количество цветов: около 800. Странное совпадение... Я долго пыталась понять, что означает это число? Так пока и не поняла...

Читаю телеграмму из Москвы, полученную мною в 1988 г.:

“Коллектив Всесоюзного гематологического центра сердечно поздравляет с юбилеем Тамару Николаевну — организатора службы крови Латвии, внесшей большой вклад в создание отечественной трансфузиологии. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, творческих успехов. А.И.Воробьев, профессор, директор Центра, Кочемасов В.В., Ржанович А.П., Сафонова В.Н.”

Каждое слово этой телеграммы отзывается во мне воспоминаниями.

А сколько таких телеграмм, писем, открыток, стихотворных поздравлений я получила в эти дни! Прочту и ясно вижу: вот мой родной Новгород, вот мои однокурсники, сослуживцы по Моонзунду, солдагерники, московские, ленинградские, эстонские, литовские, рижские коллеги, вся Латвия, где я помогала организовывать службу крови...

А как сердечно провожали меня на пенсию накануне 1993 года. Я и представить себе не могла, что когда-нибудь придет такой день...

О чем еще рассказать? Конечно же, о донорах, о том, что это за

люди... Или припомнить выразительные случаи из медицинской практики, в том числе и тот, как однажды я сама, лежа в больнице, истекала кровью по причине невероятного технического недоразумения. Может быть, стоит рассказать, как я стала преподавателем, как читала лекции по трансфузиологии в Рижском медицинском институте и в школе повышения квалификации среднего медперсонала.

А как обойти рассказом моих друзей, и ушедших, и оставшихся, и приобретенных в последнее время. Есть место в моих воспоминаниях и памятным встречам защитников Моонзунда, узников Саласпилса. На последние, правда, я никогда не ходила, боялась воспоминаний... И в Саласпилс я никогда не ездила.

Много могу говорить о моих внуках — сперва родился мальчик Димочка, а потом, наконец, девочка (я

так хотела внучку-подружку), которую я уговорила родителей назвать Наташей, как когда-то мама хотела назвать меня. Могла бы вспомнить о ее музыкальных успехах, о том, как каждый вечер я встречала ее из музыкальной школы, как уехала за границу ее педагог...

О болезнях говорить не буду, но не могу не поклониться еще раз доктору Григорию Степановичу Бируку, не только полтора года назад спасшему от ампутации мою несчастную ногу (трофическая язва, с которой я мучилась четыре года), не только вернувшего меня к жизни (жить — без ноги?), но и подвигнувшего меня на эти воспоминания.

О многом могу еще рассказать. Ведь, как сказал кто-то, жизнь — это кино, которое невозможно остановить!

Рига, 1997 г.

**МАША  
АЙНБИНДЕР,**

*или  
ОБ ЭЛИТАРНОСТИ  
ЖИВОПИСИ*



Никогда еще, говоря по совести, мне не удавалось услышать ничего оригинального о картинах Маши Айнбиндер. Это началось еще тогда, когда она жила в Риге (а я в Москве), и люди, ездившие туда, даже и большие искусствоведы, даже известные своим словолюбием, повидав ее вещи, как правило, говорили только одно: живопись. Если бы отзыв на сборник стихотворений заключался только в одном слове: поэзия, это звучало бы, наверное, очень претенциозно. И, наверное, хвалебно. Определение “живопись” в своей лапидарности говорит скорее о трудностях вербализации: не то чтобы оно в своей очевидности делает все остальное излишним, напротив, за ним скрывается мир трудно озвучиваемых представлений, уводящих в специальную область, о которой каждый имеет свое приблизительное понятие.

В то же время оно совсем не такое глупое в качестве профессионального диагноза. Картины ведь в настоящее время (как, впрочем, и всегда) пишутся совсем не только ради живописных ценностей, и как раз все остальное легко выражается в словах. Наличие живописи в картине нуждается в констатации.

В картинах Маши Айнбиндер не было ничего из того, о чем было бы легко писать и рассуждать, — ни поэтических сюрреальных видений, ни гиперреалистической жесткости (всегда связанной с жесткостью социальной), ни интеллигентных намеков на “духовное”, ни гротеска, ни даже зрительного умиления местным пейзажем.



Сосна в Шоеве. 1995. М., 46 х 38 см.

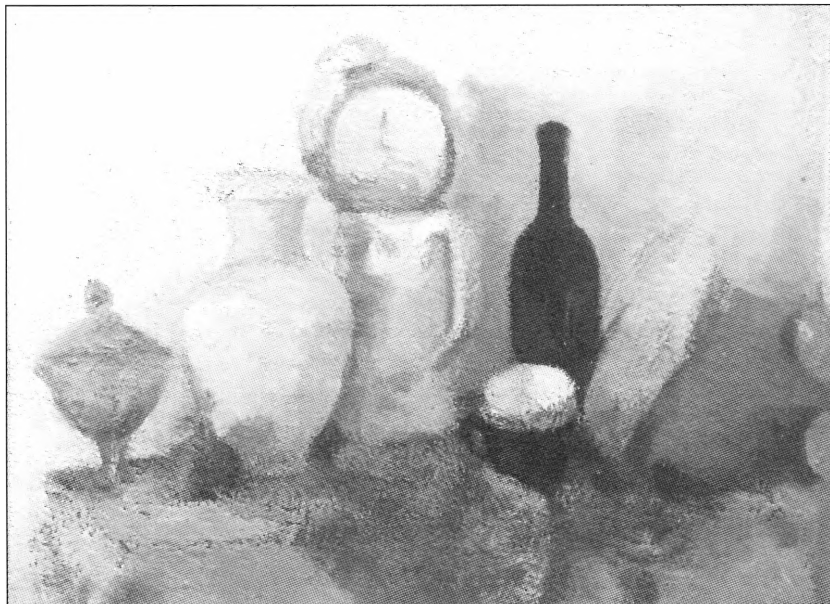
Было другое; неясно откуда идущее, из чего возникающее утверждение о мире, о его существенности, его неизбежности – и в то же время неуловимости для уже расставившего силки напрягшегося сознания; и подтверждение для не отчаявшихся понять свое соотношение с этим миром в противостоянии один на один: ищи.

Ибо настоящая живопись (современная живопись; о традиционных исторических феноменах я не говорю) – это и есть не что иное, как наглядное выражение экзистенциального мужества, не боящегося в одиночестве сформулированной последней истины об окружающем мире.

Но только сложность в том, что само это формулирование визуально; чтобы воссоздать в других те же самые познавательные ощущения, показать, как тебе это видится или в чем ты это видишь, надо научиться оперировать простран-

ством, живописной субстанцией, чья кажущаяся существенность составляется из факторов текстуры и цвета; научиться привлекать цвет, подчинить объем. Все это и дела; но если нет настоящего зрения, руки, мужества и способности к сопротивлению, которая не дает плениться уже известным, хотя бы одним своим или чужим приемом, который потом будет зиять на твоём полотне как мертвое бельмо, — ничего не выйдет.

Увлечись этим путем — путем живописи как таковой — не самая легкая судьба для художника, пишущего красками. Но это то, что произошло с Машей Айнбиндер, и этот диагноз ставил ей всякий понимающий человек. Однако по собственному опыту знаю, как трудно перевести это свое понимание в слова. Ведь вербальная речь легче всего отталкивается от очевидных символов; легко говорить и писать о картинах, которые сами по себе болтливы. Так получилось, что Маша предпочла углубление в свои живописные задачи, не имеющие заведомого решения, разговорам вокруг себя; искусство ради него самого — искусству, вращающемуся в жизни. Жизнь отомстила. То, что художнику “по жизни” положено — критические статьи, отзывы, отсюда — выставки, отсюда происходящая светскость, — все отложено на потом. На художника, ловящего удачу внутри своих полотен, медленно садится клеймо неудачника.



Натюрморт. 1993. М., 65 x 55 см.



Можно понять, почему при уже сложившемся в ее рижский период признании серьезности ее вклада, вокруг нее не возникло не только “разговоров”, но и ореола “своей” критики. Критика, аналитический эквивалент того, что делает художник, кроме реакции на его картины, предполагает и еще один процесс – достижение взаимопонимания, то есть некоторой ясной эквивалентности мышления между художником, который должен быть “вызван” из своей медиумической визуальности к разговору на простом языке понятий, и критиком, предлагающим систему мышления, в которую эти понятия могут быть вложены. Анализируя то, что делает Маша Айнбиндер, критику пришлось бы слишком глубоко входить в подробности таких чисто визуальных категорий, как трактовка про-



Этюд. 1995. М., 28 x 22 см.

странства, цвета и формы; эти разговоры натурально близки художнику, которому тут есть что сказать, но слишком профессиональны для критика, который в них плавает, и утомительны для читателя; в то время как разговор о художественных и духовных традициях, удобный для критика, для такого художника, как Маша, абстрактен и достаточно вторичен.

То же самое повторяется на моих глазах и теперь, когда обе мы живем в Израиле. Понятие о том, что в поле зрения появился настоящий живописец, существует. Однако с той разницей, что теперь слово “живопись” не всякий решается и вымолвить: на нем лежит печать отторженности от актуального художественного процесса, мыслящего совсем иными категориями; живопись же как таковая ушла в историю, стала в сознании многих “искусством музеев”. Живопись в “мейнстриме” по сути дела преодолена, и европейская традиция прервана. Мейнстрим, сформированный на наследии европейского авангарда и ориентированный на современные художественные процессы, принципиально отторгает живописца как представителя отжившего ремесла; чтобы существовать в этой среде, живописец должен “замаскироваться” под художника, использующего живопись только стратегически: для передачи другого мессиджа в оболочке экспрессивного “трансавангарда”.

Авангард (даже и в трансе) не может уже вернуться к живописи: он может предьявить лишь сам акт возвращения в нее как новую рефлексивную стратегию, что и имело место в этом течении, с помощью которого современное искусство отчасти преодолело отвращение к полотну. Здесь могло быть использовано рудиментарно сохранившееся умение так положить кистью два-три цвета рядом, чтобы было не противно смотреть. Но углубления в собственно живописные проблемы это не потребовало.

В то время как с одной стороны “авангард” подворовывает у живописца его приемы, с другой стороны его профанирует многоуровневый рынок, распространяя картинку на холсте в любой манере и с затратой мастерства; аккуратно, по-аптекаарски отвешенной в соответствии с ценой и коммерческим предназначением. Ситуация для живописи “как таковой” как никогда близка к безнадежной – что и демонстрируется здешней судьбой множества живописцев по профессии из пределов России, где живописная культура сохранялась дольше чем где бы то ни было. Выжить среди них суждено только тем, кто встроится в высшие сферы рынка или прекратит быть “чистым” живописцем. А сохраниться в качестве такового и достичь дальнейшего роста возможно только тем, кто умеет не зависеть от ситуации, какой бы она ни была. Поэтому я и езжу время от времени только к Маше Айнбиндер.

Для чего, вообще говоря? И музеи здесь в Израиле есть, и выставки случаются (раз в год примерно удается что-то посмотреть – или раннего Шагала, или что-нибудь из немецких 20-х годов). Но есть особый род переживаний, связан-



“Театр Михоэлса”. 1991-1994. М., 78,5 х 52,5 см.

ный с живописью, – это видеть художника в процессе, вместе с ним понимать цену новому шагу, сравнивать, оценивать, догадываться, спорить. Ты проверяешь себя, тебя проверяют еще строже; возникает атмосфера совместного видения, сосредоточенная и парящая, в которой забываешь, где ты на самом деле. Если отдаешься этому до конца, получаешь необыкновенно много: оттачивается глаз, формируются понятия, становишься через это отчасти другим. Было бы лишь о чем говорить (поэтому – Маша). А художник... Может быть (позволены ведь всякие предположения) – может быть, в этот момент он чувствует некую брешь в своем благодетельном одиночестве, ощущает, что он на самом деле не совсем один на один с миром, зрительное овладение которым есть только ему видная и взваленная на него задача; что кто-то видит и его – хоть и издали?

Хотя бы потому, что так мало людей осталось, по-настоящему подверженных этому роду художественных волнений, а авангардные “нетрадиционные” формы стали так популярны и в них всякий читает, как в открытой книге, можно сказать, что когда-то привычное соотношение давно перевернулось. Собственно

живопись в чистом виде стала на сегодняшний день наиболее элитарным из искусств, понятным по-настоящему очень узкому кругу немногих посвященных, тогда как раньше элитарным и трудным для понимания считался именно авангард.

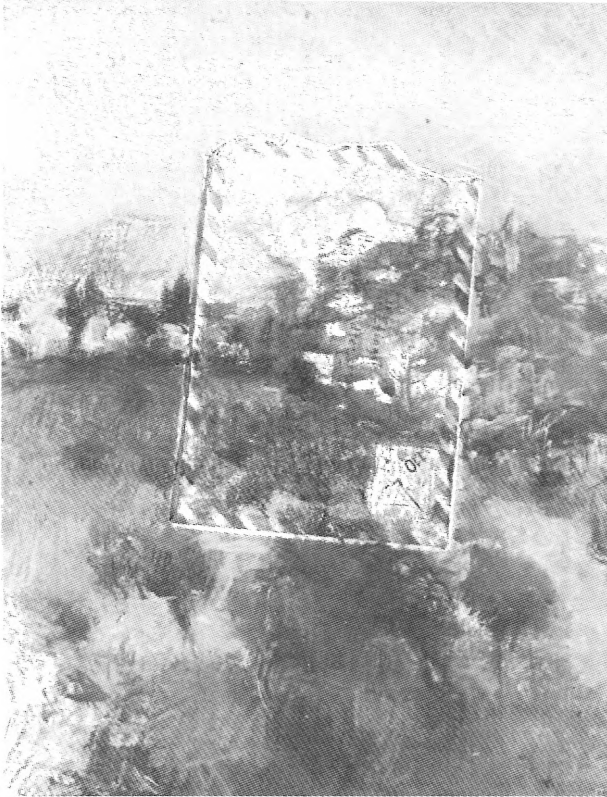
Вопрос, который за этим неизбежно встает, – не находится ли это искусство живописи на грани вымирания? Нужно ли оно? Стоит ли этим теперь заниматься? Колебания такого рода всегда сопровождают общение с теми редкими людьми, которые делают это всерьез, платя своей жизнью за роскошь творческого напряжения и непонятные большинству людей результаты.

Лично я не думаю, что живописное полотно – это устаревшая форма творчества, вроде, скажем, сонета или рондо, и лишь надеюсь, что всегда пребудут люди, как Маша, чувствующие необходимость серьезно выяснить свои отношения с миром в визуальной форме. Ни фотография, ни кино, ни видео пока не обладают в этой сфере средствами достаточно тонкими, чтобы их можно было сравнить с философской аналитичностью живописи.

Живопись – самое насыщенное из традиционных визуальных искусств, и в концентрированном виде содержит в себе также их основную сложность для восприятия – отсутствие временных изменений, что для зрителя влечет за собой необходимость продолжительного сосредоточения на чем-то одном. Это глубокое сосредоточение для современного человека трудно и почти невыносимо; он привык пробегать и перебегать; не давать ему отвлечься – значит, мучить его. Все преимущественно новых визуальных искусств, начиная с кино, наиболее серьезного из них, связаны с движением и разнообразием. Но это и означает, что в живописи остался особый духовный ресурс, другими искусствами не покрытый и не освоенный. Это нечем заменить. Тут есть к чему возвращаться.

Практически мы часто сталкиваемся с тем, что достижением в искусстве считается лишь то, что вносит определенную новизну в саму его дефиницию, что может быть провозглашено новым искусством, и поэтому как бы уже само собой разумеется, что нет смысла писать картины как сто и двести лет назад. Это современное упрощение представления о художественном авангарде, порожденное, быть может, аналогией с оценкой научно-технических достижений.

Может быть это прозвучит парадоксально, но новизна (как и ее синоним – оригинальность) вовсе не была той ценностью, которая преследовалась в классическом авангардном опыте, породившем главные катастрофические сдвиги в искусстве 20-го века. Были типы искусства, основанные на ценности новизны самой по себе, но не европейский авангард в классическую эпоху его развития. (Идея, что без постоянной смены впечатлений на новые, и все более экзотические, человек погружается в скуку, была популярной в эпоху рококо – что прямо вытекает из гедонистской природы этого стиля.) Авангард на пороге начинающейся эпохи искал идей более фундаментальных. Нет, я не отрицаю, что он внес в искусство что-то радикально новое, это и было так. Только новизна бы-



Первое письмо.  
Вифлеем-(Бейт-  
Лехем). 1994. М.,  
п., а., коллаж.  
33,5 х 26,5 см.

ла здесь то, что называется "by-product", побочной функцией чего-то другого. Этим другим, ценностью, повлиявшей на неожиданные формальные видоизменения в искусстве, была ценность свободы. Это и была цель, в наиболее развитых интеллектуальных формулировках декларируемая, например, Дюшаном, художником, который и был одним из тех, кто привел искусство к разрыву с живописью. Быть новым, или иным, было лишь функцией более значительного понятия быть свободным – разумеется, не в бытовом и примитивном и не в политическом смысле (хотя некоторая степень путаницы между этими сферами и была допущена авангардом). Различение вроде бы и не радикальное, но позволяющее прийти к совершенно иным критериям оценки современного искусства (наряду с тупо-однозначным "ново-не ново", "было-не было", которое прямо провоцирует самодостаточную революцию без творчества). Времена изменились, и теперь художник-авангардист, работающий на основании все увеличи-

вающейся информации об уже существующих стратегиях, в умозрительных рамках “консенсуса”, созданного критиками (аналитической оценки, направляющей процесс в музеях и галереях, и заменившей традиционное “суждение вкуса”) становится фигурой сугубо несвободной.

И напротив, сфера свободы, присущая собственно живописи, стала более открыта и заметна. Конечно, если художник действительно не боится одиночества и позволяет себе делать в картине то, что он хочет, а не то, что диктует традиция, конъюнктура или собственный опыт.

Любая живопись есть строительство, выстраивание на холсте своего видения, для того чтобы тот, кто увидит холст, подумал: до этого я не смотрел, я не понимал, что это так.

Машины рижские пейзажи не были “рижскими” – в том смысле, что их не стали бы покупать туристы, чтобы увезти с собой. Но они были городскими: слежение за полетом одинокой машины вместо полета птицы, тусклый воздух, обтекающий острые углы, выпирающие со всех сторон нарочно обрамленного пространства. “Свой”, до миллиметра ощупанный угол комнаты, который, оказывается, может быть истолкован таким образом – как сочетание нескольких форм, входящих друг с другом в совершенное соотношение, слепленных из дышащего вещества, вбирающего свет и растворяющегося в нем. Из той же субстанции – лицевой матери, вдвигающейся в раму из другого, из своего пространства, почти живущее. Что же касается цветов, брошенных рядом со шляпой на столе, – то на них не хватило воздуха: они слиются стать видимыми, но шершавая фактура не дает схватить взглядом их точных форм, мучает своим большим “хрипом”, когда отдохнув на мягкой тени между двух персиков, глаз вновь отправляется на приступ.

Место (в данном случае Рига), в котором формируется живописец, диктует ему многое, если не все – оно формирует его композиционные задачи, понимание пространства, с которым связаны также тональная и цветовая система. В этом смысле перемена места не могла не быть грандиозной авантюрой, экспериментом над собой, над своим существом – это шок, временная слепота и вслед за ней – средство выстроить себя заново. Отсюда, кстати, такая важность путешествий живописцев, особенно путешествий на Восток.

Машино “путешествие на Восток” отличается от традиционных живописных путешествий тем, что оно не было продиктовано целью обогатиться иным пониманием колористических задач и вернуться к себе, как это классически исполнил, скажем, Матисс. Ей, как до нее другим художникам, становившимся израильтянами, предстояло остаться и приспособить свое видение к новой среде, найти в этой среде соответствующие ей задачи, и идентифицировать с этими задачами себя. Много побившись над этим, она произвела, наверное, самое оригинальное и самое здоровое суждение об израильской живописи, которое мне

доводилось слышать. “Не то чтобы все эти “классики” были плохими художниками, – говорила она, – но все они решали на этом материале, имеющем свой характер, посторонние задачи, унаследованные ими в другом месте, вывезенные из Европы”.

Медленно и правильно воскресать – нелегкий этап для художника, но, как известно, “...нетерпенье – роскошь”. Кругом – сплошные соблазны и угрызения, мешающие этому процессу: галереи, союзы, первые выставки наехавшего народу. Сейчас решается: кто из них самый талантливый и выдающийся? Кого взяли? О ком написали? Слава Богу, опыт подсказывает, что некуда бежать: все



Дом соседа. 1995-1996. М., 46 х 38 см.

равно все давно разобрано. То есть роздано: при рождении. То, что можно добавить от себя, – необходимо добавить.

Главный удар, испытанный на новом месте, заключался в том, что в Иерусалиме нельзя было продолжать быть “городским” художником. Многие, менее городские, чем Маша, кинулись на зот жанр “уголков” и “двориков” – что-то привычное. Но Маше-то разница была ясна. Среда здесь так и не стала городской, оставшись подобием Лысой горы. Город, распластавшийся по ней, – это

частность, ему так и не удалось завладеть холмами, освоить их. Глядя на них сверху, можно и не замечать, что они покрыты строениями как некой растительностью. Природное соотношение каменистой почвы, бесконечного висящего неба и яркого света остается в Иерусалиме доминантным в любом положении, даже если зарыться в переулки. И, что самое удивительное, это пронизанное светом холмистое пространство нигде не имеет естественной рамы, какую могли бы служить стена или дерево. Пейзаж, в котором вообще главное – не зримые мотивы, а незримое истечение света в пространстве над загадочными серыми холмами; он вливается в глаза всем оком, а если “центрировать” его, как диктуют законы “городской” композиции или тем более воспользоваться “рамочным” мотивом, он теряет этот свой неповторимый характер. Одним словом, пустыня. Куда бы ты ни отвернулся – она остается самой собой.

И еще одна немаловажная деталь – никакой определенной живописной традиции, относящейся к этому мистическому месту. Никто не дал ключа. Не наметил главного. Не считать же традицией наезды в Палестину Хольмена Ханта или Поленова?

Я наблюдаю за этой серией нелегких опытов уже несколько лет. Этюды, виды из окна, акварели, пастели. Идет поток белого, голубого и зеленого – самых тривиальных цветов, из которых когда-нибудь, если хватит сил и позволят обстоятельства, сложится что-то не бывшее раньше нигде. Однажды возникает дом. Не такой, каким бы всякому нормальному человеку хотелось полюбоваться, где закопченный и многострадальный иерусалимский камень сложен в этажи и арки, а просто дом, взгромоздившийся на какую-то кучу, гладко-белая супрематическая стена, заслоняющая полнеба. Что за дом? – Соседский.

Ну и пусть он какой-то неинтересный сам по себе, зато в каком-то смысле художнику повезло, что рядом стоит такое воплощение всего чуждого и равнодушного к нам, так уверенно чувствующее себя здесь, где не мистика и романтика Востока, а вот этот раскаленный и уже такой обыденный свет лета, в котором всегда приходится двигаться, огибая знакомые углы, неизбежные, как неизбежен ежедневный поход в соседний магазинчик с мухами, – основа общего мироощущения. Да собственно и у нас, недавно приехавших, романтика ожиданий уже в прошлом, и нам тоже надо бы по-настоящему жить и чувствовать себя “как все люди” в этих домах, и почему-то снова, второй раз в стране чьей-то осуществившейся утопии. Я бы сказала, что этот дом, к сожалению, не вполне напоминает сам Иерусалим; но ведь Иерусалим – это сказка, а в сказке не живут, хотя мы, может быть, и мечтали красоваться в ней как в некоем восточном Суздале... Живут именно в утопии, где пахнувшие свежей краской раскаленные белые плоскости стен обалдевших от жары домов с помощью такого же свежего названия превращаются в географическую реальность. Именно такой дом можно было бы увидеть не здесь, скорее... Только стоп. Все наоборот. Его



здесь и нет. Его нигде нет. Можно сходить к соседям и проверить (что я и делаю). Это – только на картине. Это Маша. Это соотношение белого и голубого, плоскости и высоты, света и очертаний говорит со мной. Прототип этой постройки совершенно не при чем.

Я начинаю любить и превозносить этот нагло задранный дом. Я придумываю для него нарочито символические названия (как у пейзажей Сезанна – где белый дом у дороги почему-то вдруг называется “Домом повешенного”). Я боюсь, что его купят.

Через год я не узнаю его. Он сжался и скукожился, потому что он стоит рядом с новыми работами. Их немного: две и одна незаконченная. Это на сегодняшний день последние вещи. Вот одна. Взгляд ночной: нет ни дома, ни дерева, ничего, что хоть в какой-то мере позволяло “отцентровать”, пусть и ненавязчиво, композицию. Наконец по-настоящему попала в картину целиком эта сыпучая, не имеющая никаких границ среда, о которой мы прежде так много рассуждали; только теперь, ночью, она напоминает горсть светящегося пепла с перебегающими по нему огоньками. Так это видно сверху, с Масличной горы или из Тальпиота, или с луны, огромная слепящая поверхность которой маячит здесь перед глазами, как второй пейзаж, окруженная той фантомной каемкой, которая всегда возникает вокруг свечения, травмирующего глаз.

Вторая картина совершенно земная по колориту: черное с хаки. Можно сказать, что это местный израильский колорит, но не исторический, а современный. “Легкая” страна, постоянные передвижения на колесах, и в любой пестроте едущих неизбежны вороны шляпы хасидов и тусклая зелень солдатских групп. Но нам не предлагается этнографический этюд. Мы не будем их пристально рассматривать: мы не сможем их рассмотреть. Мы в середине перелетной толпы, томящейся на вокзале, и даже вблизи не можем сосредоточить взгляд на лицах и формах, которые перебегают и обманывают, как те же пепельные огни. Что же – они нас не касаются, они не в нас. Снова познавательное усилие наталкивается на невидимую дистанцию, мягкую, но непреодолимую преграду. Мы будем стараться заглянуть за нее, но нам ее не разрушить.

Что дальше? Я не знаю, к чему приведет этот пристально направленный на страну интерес. Не знаю, чтобы кто-то столь же упорно занимался живописными проблемами, которые она создает. Так же работала Маша и в Риге, которую считала своей, но которая осталась для нее – историей с ненаписанным концом. И невозможно предсказать, что будет с ее живописью теперь здесь – на этой самой дальней из чужбин и которую только сумасшедший сегодня продолжает считать и громко называть своей страной.

## **ЛАТЫШСКАЯ ПРОЗА СЕГОДНЯ**

*Публикуемые материалы дают общее представление о спорах вокруг вопроса о состоянии сегодняшней латышской прозы. Авторы статей — активные участники литературного процесса: критик и прозаик Гунтис Берелис, писатель, публицист Гундега Репше и критик Инесе Треймане.*

**Гундега Репше**

### **Крик о помощи на равнине\***

*Анархистские заметки*

В последнее время я довольно часто себя спрашиваю — помогает ли мне жить латышская литература? Может быть, отождествлять литературу со скорой помощью или психо-терапевтической бригадой слишком утилитарно и эгоистично, однако именно этот аспект я считаю одним из существеннейших аргументов в пользу существования литературы.

Я тоскую по книгам, которые бы меня потрясли, разбередили — от мозговых извилин до пищеварительной системы, которые перетряхнули бы мой собственный хаос, как стекляшки калейдоскопа, и явили бы его в новом качестве. Хотя бы на неуловимо краткий миг. А интеллектуальные игры, которые вот уже несколько лет преподносятся как знак, более того, как гарантия новаторства в литературе, в большинстве случаев захлебываются в своей собственной немощи, в равнодушии. Ведь чтобы играть азартно (особенно в литературе), хотя бы кто-то из игроков обязан знать правила игры (в противном случае не рождается даже пресловутый *смысл бессмыслицы*, ибо один играет в салки, второй в казаки-разбойники, третий и четвертый соревнуются, кто кого переплюнет).

Сегодня, когда любой текст с завидной терпимостью называется литературой, когда царит монотонный хаос, ни автор, ни созданные им образы, ни читатель не предлагают правила игры, читатель не видит и кончика нити, имея которую, он мог бы по своему усмотрению решить — повеситься на ней, пришить литературный текст к воротничку своего опыта или бежать удить рыбу.

В латышской литературе я наблюдаю изрядное количество ремесленников. В искусстве их называют мастерами художественных ремесел: ковер соткут, корзинку сплетут, янтарь обработают и т.д. Никакой сверхзадачи, света личности здесь не требуется — ремесло ценно само по себе. Сравнивая этих ремесленников с литераторами, которые изо всех сил стараются соответствовать те-

---

\*Karogs, 1996, № 5

перь уже почти единственной концепции — постмодернизму, можно сказать, что плетеные корзинки служат в качестве непритязательных инсталляций, ковры режутся и подаются на обед как макароны, а янтарными ожерельями украшают божественные орудия ремесла — компьютеры.

Ничто не ценится, все преходяще. Шарм приблизительности, который в первых вариантах такого рода текстов завораживал, сегодня многократно и силовыми приемами тиражируется, превращаясь в жирную ухмылку (признак капитуляции). Но шарм ведь не тиражируется, он рождается однажды, и всякий раз как первый раз. У шарма нет двойника.

Латышская литература сейчас — это некая манерная, а на самом деле трусоватая, втянувшая голову в плечи старая дева (может быть, даже и по убеждению), которая открылась ей самой непонятными, абстрактными надеждами. Эта задевающая меня картина стала особенно явственной после прочтения романов Р.Гавелюса “Вильнюсский покер” и “Пограничье” Э.Тодэ — произведений, меняющих точку зрения на окружающее, так как каждый из них представляет собой суверенный, убедительный мир. Если я почувствую себя обескураженной, отупевшей или внезапно потеряю почву под ногами, я могу глянуть вокруг глазами Гавелюса или Тодэ: они предложат вам даже мировоззрение, и не один его вариант. Я не обязана принять их, но я могу им довериться, если нуждаюсь в поддержке — такой силой они обладают, — даже если психологически неприемлемы (как в варианте Тодэ).

Конечно, стереотипы наших представлений о том, что литовская литература *вообще* — витальная, сочная, грубоватая, страстная и земная, а эстонская — эстетичная, интеллектуальная и отстраненная, могут ввести в заблуждение, однако названные произведения это как раз и подтверждают. Своей нестерпимой откровенностью они распалили мои слегка анархистские размышления и подтвердили третий, печальный, стереотип, что латыши — среднее арифметическое.

Роман Р.Гавелюса бьет по голове изнавоженным колом (и не только им), он — свидетель апокалиптического поединка отчаяния и гордости, незатухающий крик об истине, о *почему*, отчаянное и извечное сражение индивида с обществом, миром, с Вселенной, если хотите. И эту борьбу писатель исследует через страдания, роясь в куче трупов, липучках слабостей, туманностях метафизики человечества, не стесняясь в то же время быть и оставаться литовцем (сколько бы презрения и бессильного гнева, святой ненависти он не адресовал измордованному народу). Сыграв в покер вместе с ним, я избежала ада, очистилась, стала смелее. До очередного ада, разумеется.

“Пограничье” Э.Тодэ не воскресило меня, потому что к такого рода стилю, который льстит эстетическим чувствам читателя всеми присущими цивилизации украшениями, я давно привыкла, однако и это произведение перепахивает мое представление о текущем времени, и я через Тодэ вдруг ощущаю себя к нему причастной, ему близкой. И Тодэ подтверждает эстонский стереотип — по крайней мере на текстуальном уровне он возвышается над илом жизни, земной

суетой, над отмирающими, атавистическими чувствами, такими, как национальная принадлежность, не говоря о еще более ужасном грехе, как, например, любовь к родине (в отличие от Гавелюса, для которого Вильнюс — любовь, Бог, в каких бы образах потаскух или падших алкоголичек он ни воплощался). Тодэ лирично плывет в голубых пространствах — звездных сферах, презируя и со слегка инфантильной оскорбленностью кляня Восточную Европу, откуда он (его герой) происходит волей случая. В прекрасном пустынном небе он ищет своего ангела (Анжело), правда, заранее смирившись с тем, что его, может быть, вовсе и не существует. Эта аристократическая холодность, голубизна, которая в данном случае и цвет сексуального предпочтения, раздражающе типичны для упомянутого стереотипа. Тем не менее роман этот все же — искренен в своем отношении к новому миропорядку(?), попытка создать в себе ту модель, в которой можно или дышать, или капитулировать.

Братья-латыши ссылаются на то, что исторические реалии слишком еще свежи, коротка дистанция, чтобы на достойном художественном уровне писать как о бывшей, так и о новой реальности. По-моему, это малодушная попытка оправдаться, и мне почему-то вспоминается знаменитый пленум творческих союзов, который состоялся после того, как таковой же был создан в Эстонии... Боязнь риска. Абстрактные надежды — когда-нибудь, мол, как-нибудь. Зеленый цвет. К сожалению, и надежды, случается, несут в себе элемент бездеятельности, апатии, расслабленности. *(Да, надежда как болезнь. Я чувствую, что наконец здоров, я больше не надеюсь и вновь готов страдать. — Э.Тодэ)*. Новейшие генерации латышей такими “низкими”, социально окрашенными вещами, как осмысление мира, не занимаются — ведь у этих дел в кумовьях “грязная” политика, это исследование идеологического навоза, и надо ли им через 50 лет снова перенасыщаться? Снова возвращаться в это болото, в эту грязь? Жемчужины истины сегодня можно имитировать, и вместо исторической, психологической ноши можно взвалить на себя консервы постмодернизма (они не портятся, их удел — вечность).

Правда, хуторские романы у латышей появляются, однако духовный размах не простирается дальше самого хутора, дальше индивидуального опыта. Писатель, индивид не способен идентифицировать себя с обществом, где уж тут с народом, он остается один на один со своим опытом, и не умеет его концептуально “высадить в почву”, расположить против, над, мимо бытия. Это как будто бы честная позиция — писатели, в отличие от журналистов, не надевают форму “мы”, однако и тут я различаю выжидающую, трусливую ноту. Думать концептуально, масштабно, не боясь разрушать, причинять боль, крушить и, рискуя всем, создавать заново — это не прельщает сегодняшнего литератора. Он спокоен, он — созерцатель (а может быть, просто равнодушный?), у него в **-измах** благоустроенный, теоретический домик, он довольствуется каким-нибудь собственным органом, серьгой или резинкой от чулка какой-нибудь бывшей любовницы, формочкой из детской песочницы, беспочвенной вечной депрессией или механическим,

абсурдным смешением подслушанных в автобусе разговоров, чтобы нафантазировать вполне самодостаточный мирок. Приблизительность, самолюбование и известный произвол (как умею, так и блею) мстят изоляцией. Резонанса нет. А требовательность к себе — лишь на уровне глаз. И не спасут тут источаемые друг другу похвалы, потому что прогулки рука об руку ограничены весьма небольшим радиусом — в собственном садочке.

Похоже, литературу в Латвии в очередной раз несет по течению. Этому в большой степени способствует как недостаток концептуальной критики и мышления, так и тактика взаимообслуживания одного рода литературы в рецензиях. Нет ничего плохого в дружеской интерпретации единомышленников, современников, если только это — не единственная форма критики (чаще, правда, откровенно комплиментарная). Это неизбежно приводит к тому же, к чему в свое время привело инсталляторов, которые сами для себя возводили конструкции, сами себя интерпретировали, сами разрабатывали критерии, сами о себе и о друзьях писали, в какой-то момент испытывая иллюзорное удовлетворение; удобно, но связь с читателем, зрителем, обществом не возникала. Однако на примере этого рода искусства стоит поучиться тому усердию, с каким произведение искусства толковалось, оценивалось критериями, созданными самим произведением искусства, условиями игры. Литературную критику нынче обслуживает литература, поднося ей легко перевариваемую пищу, ибо и так понятно, что литературное произведение будет оцениваться исходя из субъективных критериев — что является и что не является литературой.

Для многих друзей Бекета и мастеров сыпать словами хочу здесь процитировать наших соседей:

Р.Гавелюс: *“Я ненавижу Бекета, хотя, думая о его книге, чувствую благоговейный трепет. Может быть, ему единственному было по силам посмотреть на человека равнодушными глазами Бога. <...> Он показал то, что есть, но отказался даже заикнуться, ПОЧЕМУ так, КТО виноват. <...> Он бросил человека одного, раз уж посмотрел на него глазами Бога. На человека надо смотреть глазами ЧЕЛОВЕКА”*.

Э.Тодэ: *“...молчание мира меня пугает, и тогда я силюсь говорить, пытаюсь заполнить тишину, которую не выношу, ни один человек ее не выносит — я уверен в этом, что бы вы ни сказали”*.

Конечно, уверенность в том, что настоящее писательство есть адекватная реакция физического существа на белый лист бумаги, не замаранный ни идеями, ни мыслями, может, при счастливом совпадении, создать выдающееся произведение. Но в этом случае физическое лицо должно быть выдающейся, неординарной личностью, чье убеждение (хотя это не обязательно должно обнаруживаться в тексте) есть высочайший принцип, помогающий преодолеть историю, преодолеть себя. Проще говоря, у меня такое чувство, что крупных личностей, чей духовный взор способен охватить мир — а не только квадратуру собственного носа, становится все меньше. Инспирированные самолюбием тексты редко помо-

гают жить. Я не боюсь запутаться в сетях консерватизма, солидаризуясь с мнением одного писателя, что литература есть альтернативный мир над бездной человеческой жизни. Если литература не способна породить еще одну возможность, зачем она тогда вообще нужна? Чтобы собираться в цеху сестер и братьев по перу и рассуждать о том, кто как себя чувствует в нынешней жизни?

Какое это имеет значение? Какое значение имеет самочувствие?! Гораздо важнее вопрос, насколько высок потолок человечности литературы и таланта. Самочувствие не аргумент, оправдывающий бессилие литературы.

Умение водить читателя за нос, которое критики зачастую выдают за признак мастерства, на мой взгляд, просто белый флаг капитуляции и сальто отчаяния от собственной серости. Считаю, что литература — не драчка: кто кого перехитрит. Существеннее мне кажется подоплека этой игры. Пусть даже там тьма, ничто. Но уж это зависит от остроты зрения и других органов чувств. Ибо и ничто может превратиться в Божественные кущи.

В латышской литературе я наблюдаю не перелом, а слом. Демонстрируя острые края, он торчит между рефлектирующими текстами реально-психологической умеренности и кристаллизующейся в самодостаточности эквилибристикой. Допускаю, что обрисованная мною ситуация (в том числе и географическая, имея в виду Р.Гавелоса и Э.Тодэ) вполне обнадеживающая. Ситуация равнины. Не дай Бог, чтобы на месте слома появилась ловушка для волков.

**Гунтис Берелис**

### **Литература — не рвотный порошок, или в поисках реальности\***

*“В последнее время я довольно часто себя спрашиваю — помогает ли мне жить латышская литература? <...> Я тоскую по книгам, которые бы меня потрясли, разбередили — от мозговых извилин до пищеварительной системы, которые перетряхнули бы мой собственный хаос, как стекляшки калейдоскопа, и явили бы его в новом качестве”, — пишет Гундега Репше в статье “Крик о помощи на равнине”. Надо сразу сказать, что литература вовсе не помогает жить, — большинство людей отлично обходятся без латышской литературы и даже не собираются умирать, как мухи (сравним тираж в несколько тысяч, каким обычно издается латышская литература, с полутора миллионами потенциальных читателей, сделав поправку на читателей библиотек и тех, кто из-за тощего кошелька не может приобрести желаемую книгу, — и сразу станет ясно, что читатель латышской литературы скорее редкое исключение; но чтобы улучшить настроение, добавлю, что в США, эталоне современной цивилизации, одних неграмотных свыше десяти миллионов). Столь же странно ожидать от текста, чтобы он помог пищеварению, ъзвал приступ*

---

\*Karogs, 1996, №9. Печатается с сокращениями.

рвоты (физической или душевной) или заменил снотворное. Книжную полку вряд ли можно рассматривать как заменитель домашней аптечки.

В известной мере можно, конечно, согласиться с критическими словами Гундеги Репше, которые адресуются мадам, именуемой латышской литературой. Мадам и в самом деле из-за своей неподвижности расплнела и погрузилась в рефлексии о своей легендарной молодости. Но дальше начинаются совсем курьезные вещи. Стоит кому-нибудь попытаться расшевелить эту мадам или хотя бы воткнуть иголку в ее мягкий зад, как Гундега Репше ему тут же — бац! — по лбу: ты не помогаешь мне жить! И сочувствует бедному невинному читателю, который не знает правил игры <...>, высказывается о мастерах художественных ремесел, которые *изо всех сил стараются соответствовать теперь уже почти единственной концепции — постмодернизму* (при всем своем внимательном чтении статьи я так и не выяснил, что же Гундега Репше считает *концепцией постмодернизма*, и если таковая существует, то что это за причины, которые мешают наряду с ней существовать любой другой концепции; к тому же, если путем дистилляции извлечь из литературы некие элементы, характерные для постмодернизма, то окажется, что большой шаг в этом направлении сделала и сама Гундега Репше — и в “Семи рассказах о любви”, и в “Современном бестиарии”, и в “Апокрифе теней”). Чтобы указать латышской литературе подобающее ей место, она сравнивает два, на мой взгляд несравнимых, романа: поистине блестящий “Вильнюсский покер” Гавелюса и манерное, местами и вовсе дилетантское “Пограничье” Тодэ — очередные стоны о заезженных историей восточно-европейцах (конечно, есть и у “Пограничья” свое сияние — награда Балтийской Ассамблеи, которая, кажется, как и обыкновенно международные премии, присуждена исходя из политической конъюнктуры). Мол, видите, как литовцы и эстонцы пишут, а у латышей только и есть *консервы постмодернизма и хуторские романы*. И — ни слова о том, кто же эти ремесленники и консервщики. Лишь несколько намеков по принципу — свои поймут.

В целом статья рисует довольно пугающую картину: гляньте, надвигается целая армада — *и консервщики, и мастера сыпать словами, эквилибристы, и многочисленные друзья Бекета*, и кое-кто еще — и вот-вот эту мамзель, латышскую литературу, положат на лопатки. Ужас! Самое время звать на помощь! Картина поистине эффектная — настолько, что начинает напоминать очередной миф о литературе. Однако оставим сотворение мифов литературоведам следующего тысячелетия и постараемся взглянуть на литературу как на реальную ситуацию. И тут странным образом окажется, что потенциальных консервщиков совсем не так уж много, — во всяком случае, меньше, чем истраченных на них эпитетов. Янис Эйнфелдс, Янис Веверис, Нора Икстена, Арвис Колманис (я добавил бы сюда и вскрывающую ныне консервы Гундегу Репше, но она наверняка воспротивится), может, еще кто-нибудь, кто пока не сумел издать первую книгу или прекратил заниматься писательством (как Айварс Озолиньш или Римант Зиедонис).

Чувствуется нежелание автора статьи видеть то, что прямо под носом. Она тоскует по *разрушению и созданию нового* — и странным образом не видит, например, что проза Эйнфелдса разбивает наши представления о литературе до основания. Безусловно, удобнее его “Книгу свиней” легкой рукой записать в холодильник к другим консервам, а “Сукиного сына” Юриса Розитиса причислить к сказкам хуторских бабушек. Роман Яниса Вевериса “Зеркальное вино”, на мой взгляд, намного превосходит “Пограничье” Тодэ, но, возможно, у нас с Г.Репше слишком разные вкусы. А вероятнее всего здесь в очередной раз сработал хорошо известный оптический обман — на расстоянии и посудная тряпка может показаться знаменем.

Небольшое отступление. Если мы хотим найти причину, которая не скажем, что угрожает, но подтверждает некую инерцию и законсервированность, то далеко ходить не надо. Читатель, возможно, не знает, что в Латвии около трехсот литераторов, которые официально приписаны к писательскому цеху. И вот вам загадка — чем же занимаются все они? Во всяком случае, не писательством — к активно действующим можно причислить всего несколько десятков (истины ради следует сказать, что в это число входят и переводчики, имитации деятельности которых помогает огромный спрос на всякого рода лубочную литературу); прочие же изредка появляются на публике, чтобы сообщить, что еще живы. Кажется, что именуемые латышскими писателями своей задачей считают доказывать, что латышской литературы нет и быть не может. На очередном, майском собрании в Союзе писателей в очередной раз прозвучало: издатели нас игнорируют! пресса не любит! никто не печатает! Что касается поэзии и особенно поэтических переводов, с этим утверждением можно согласиться: книги стихов действительно появляются благодаря здоровому авантюризму отдельных издателей, фондам и конкурсам или богатым родственникам и друзьям авторов. Но что касается прозы и критики, то тут все наоборот. Издатели готовы опубликовать любой более или менее внятный роман, газетные редакторы, потеряв надежду, мечутся в поисках рассказов, критических статей и рецензий, но нет ни романов, ни рецензий на них. Безусловно, возможности публикаций по сравнению с рубежом 80-90-х гг. намного скромнее и, потому, казалось бы, литераторы спешат использовать те небольшие объемы, что предоставляют им “Карогс”, “Кентавр”, “Литература, искусство и мы”, “Образование и культура” (и совсем крошечные — “Дiena”).\* Трөгательная картинка: сотни две прозаиков и критиков месяцами толпятся у редакционных дверей, размахивая рукописями, и ждут не дожидаясь своей очереди. В жизни все наоборот: все эти издания по существу перебиваются с хлеба на квас, т.е. что получают, то тут же и печатают — критерий качества (какая уж там интрига дискуссии) отступает на второй план. Не пресса не любит писателей, писатели игнорируют прессу. Примеров тому множество. Приведу один.

---

\* “Литература, искусство и мы”, “Образование и культура” - сжэнсдельники, “Дисна” и сжедневная газета.



На третий конкурс романов, проводимый “Карогсом”, было прислано 37 произведений. После прочтения этой груды страниц у меня создалось впечатление, что большинство авторов — отнюдь не профессиональные литераторы, а пишущие ради *времяпрепровождения*. Этим я совсем не хочу сказать, что одна только принадлежность к Союзу писателей является критерием качества. Важно другое: конкурс предлагает выход к читателю, солидные премии, а писатели предпочитают молчать. И если уж литература не интересует профессионалов, то кого же она должна интересовать? Мы вправе гневаться на нашу культурную политику, точнее, на ее отсутствие, на террор в книгоиздании, но это не аргументы, оправдывающие бездеятельность писателей.

Это и есть проблема сегодняшней литературы: армада молчащих, инертное, плачущееся сообщество (не)писателей. Итог очевиден — фактически прерван ход литературной мысли, и эта ситуация длится не год, и не два. Но культура без саморефлексии не может существовать — в противном случае это *реперезентативная* культура, культура как исполнение *долга*. Завидуешь просто, перелистывая прессу начала века и 20-30-х годов — с каким увлечением ругались уважаемые господа классики, щипая и раздавая тычки мадам литературе.

Но вернемся к статье Гундеги Репше. Безусловно, для ее появления имелись все основания. Причину появления статьи можно сформулировать словами Вальтера Беньямина: “...писатели это люди, которые пишут не от бедности, а от недовольства книгами, которые они хоть и могут купить, но они им не нравятся”, то есть Гундега Репше, выразив свое отношение к особенностям современной прозы, выразила одновременно и те побуждения, которые вынуждают ее писать, чтобы заменить своими текстами все остальное. В действительности “Крик о помощи на равнине” был бы вовсе не так нелеп, если бы писатель поистине писал один на один с белым листом бумаги, — если б на шее у него не висел тысячелетний опыт литературы, который заставляет его писать в не меньшей мере, чем собственное призвание (уже лет семьдесят время от время актуальной становится идея, что все уже написано — остались одни вариации; парадоксально, но писатели, вместо того чтобы вымереть как вид — какой смысл заниматься вариациями? — немислимыми темпами множат печатные тексты; сомневаюсь, что этот рост можно объяснить лишь социальными причинами — скажем, повышением уровня образования или увеличением количества свободного времени; скорее, литературный опыт, необходимость его осознать и реализовать является тем фактором, который заставляет писать). Создание текста — не каприз автора; автор отзывается на некую глубочайшую необходимость, которую он сознательно или бессознательно расслышал в литературном процессе.

Если говорить о теме — литература и эмоции, то здесь имеется несколько величайших иллюзий. Существует взгляд, что литература создает эмоции, аналогичные тем, какие нам доставляют переживания в реальной жизни. И тут возникает вопрос: если это так, то какого черта мне нужны эти на сей

раз поистине консервы эмоций? Во всяком случае, чтобы получить по лбу изнавоженным колом, “Вильнюсский покер” мне не нужен. Этим я не хочу сказать, что при восприятии текста нет ни сопереживания, ни катарсиса, — есть, конечно, однако это отнюдь не доминирующий элемент в отношениях читателя и литературы (Платон, когда намеревался изгнать из своего идеального государства всех поэтов, вовсе не был злодеем — он только весьма рационально трактовал и без того рациональную эстетическую концепцию Аристотеля, от которой до эмоциональных консервов — лишь один шаг). Сопереживание — только одно из объяснений феномена литературы, популярность которого определилась не столько “истинностью”, сколько огромным влиянием эстетики Аристотеля на европейскую культуру на протяжении по меньшей мере семи столетий. Во-вторых, сомнительно, может ли быть целью писателя трудиться несколько месяцев только затем, чтобы вызвать в читателе мгновенные эмоции, которые последний может с тем же успехом пережить и другим способом. К тому же надо помнить, что текст отнюдь не является мостом между переживанием писателя и переживанием читателя. Воспроизведение любой иррациональной эмоции в тексте в сущности есть рациональный труд, в котором, добавим, литературному опыту, традиции, стереотипам восприятия текста принадлежит по меньшей мере такое же большое значение, как личности автора. Фактически и сопереживание — это сети автора, раскинутые для читателя, — автор тщательно трудится не для того, чтобы выложить на бумагу свои переживания, а для того, чтобы спровоцировать к сопереживанию читателя. Читатель плачет или задыхается от приступа смеха, а автор в это время радостно потирает руки — провокация удалась. Продолжая эту мысль, остается добавить, что неизвестно, какими мыслями руководствовался Гавелюс, когда писал “Вильнюсский покер” (тем более потому, что Г.Репше по непонятным причинам мысли одного из персонажей романа приписывает автору). Может быть он сейчас, развеселившись, хихикает над тысячами читателей, которые вытаскивают из романа навозные колья и тому подобные аксессуары. Ибо — зазор между писателем как человеком и писателем как автором конкретного текста достаточно широк, чтобы в нем скрывались самые странные вещи.

Гундеге Репше не нравится, что текст оценивается исходя *из субъективно однообразных допущений* по принципу *сколько читателей, столько интерпретаций*; объективностью по большей части называют случаи, когда несколько критиков в оценке какого-нибудь текста единодушны, что отнюдь не означает, что их оценка *правильна*. К сожалению, миф об объективности, хуже того, о ее необходимости в отношениях человека с литературой, поразительно живуч. Куда эта иллюзия приводит, показывает статья Репше. А именно: литература в очередной раз делится — на полезную (*помогает жить*) и бесполезную. Она хочет, чтобы литература *на надлежащем художественном уровне писала как о бывшей, так и о новой реальности. Новейшие же генерации латышей такими “низкими”, социально окрашенными делами, как осмысление*

мира, не занимаются; их точка зрения такова: *настоящее писательство есть адекватная реакция физического существа на белый лист бумаги, не замаранный ни идеями, ни мыслями*. Оставим в стороне загадочное множественное число (*генерации*), которое опять рождает представление об армадах литературных вурдалаков, а также невесть откуда выхваченную *точку зрения*, с какой, надо признаться, мне в последнее время не приходилось сталкиваться, разве что перечитывая критические статьи Андрея Упита (между прочим, это классический прием: не анализировать конкретные тексты и на основании анализа делать выводы, а свое личное и, похоже, чисто эмоциональное отношение к этим текстам преобразовывать в обобщающие фразы, чтобы декларировать их по принципу: все это уже и так знают, но я первая это говорю). Итак, если писатель приближается к реальности, наверное, это значит, что он касается различных социальных явлений, — он *полезен*, если нет — никуда не годится. А реальность — это факты, события, процессы, которые можно увидеть, потрогать, понюхать, попробовать. Цель писателя — фиксировать все это, правда, с дополнением, что это надо делать *на надлежащем художественном уровне*.

В одном смысле нельзя не согласиться с Репше: существует реальность, рядом с которой не поставишь никакую фантазию, — самое настоящее золотое дно для писателя, откуда черпать и черпать; и — есть иные литераторы, которые действительно не хотят этим заниматься. Вопрос — почему? Не буду говорить *о художественном уровне* произведений Эйнфелдса, Вевериса, Колманиса, Икстены, оторый я считаю если не высоким, то по крайней мере интересным, с чем, безусловно, Гундега Репше вправе не соглашаться. Итак, почему иные не хотят щупать, смотреть, нюхать, пробовать? Это их личная вина, каприз (или что-нибудь подобное из богатого набора эпитетов Репше?) Уже говорилось, что писатель пишет не один на один с белым листом, — очевидно, на возникновение и, самое главное, на стабильность этого рода прозы на протяжении вот уже почти десяти лет повлияли какие-то более глубокие причины.

Литераторы из поколения в поколение непрестанно лелеют одну и ту же мечту: *ухватить* реальность, найти идеальный язык литературы, который все сказал бы, *как есть* или *до конца*. И из поколения в поколение капитулируют в этом конфликте. К сожалению, коды, которые вырабатывает литература, далеко не адекватны реальности — по легко понятным причинам и не могут быть таковыми. Коды непрерывно меняются, к тому же это не происходит, как *перелом* или *скачок*; перемены — довольно долгий процесс, и обычно бывшие коды сосуществуют с сегодняшними; меняется только *доверие* авторов и читателей к этим кодам. Бывшие коды ставят ловушку — они заставляют автора писать не о том, что и как он, возможно, сам по-настоящему не сознавая, стремится писать, но о том, что и как принято писать. Попадают в эту ловушку по большей части добровольно — но это нежелание видеть языковую реальность, отказ от свободы и укрытие в удобной, однако

на самом деле окончательно прогнившей языковой обители. Исчезает вопрос: то, о чем мы пишем, действительно есть то самое, про что нам кажется, что мы его видим? Реалисты прошлого века ставили этот вопрос с небывалой широтой (одновременно происходил и другой процесс: преобразование записываемой литературы, т.е. письменных имитаций устного рассказа в письменную литературу). Сами спрашивали, сами отвечали — и так успешно, что порожденный ими ответ, код реализма, все еще функционирует. Однако большой вопрос исчез — остался только ответ. Ловушка.

Реализм (если подразумевать стремление автора фиксировать видимые, осязаемые и т.д. процессы так, чтобы читателю не приходилось искать упоминаемый Г.Репше *кончик нити*) — это только один из бесконечно многих культурных кодов. Вроде бы само собой понятно. Однако мы это утверждение можем повторять сколько угодно — от этого другие коды не станут равноценнее реализму. Необходимо это доказать практически; теоретических деклараций и осмысления факта недостаточно. Иными словами, недостаточно выбрать какой-нибудь из уже готовых литературных кодов и использовать его *на достойном художественном уровне*, каждый код должен возникнуть как бы *сам собой, естественно*. Только таким образом можно освободиться от мифов о всесии реализма и тесной связи реализма с реальностью. Более того, необходимо также утратить иллюзии, что реализм — это точка отсчета, с которой сравнивать — или к которой приравнивать — любую другую языковую систему. Только тогда можно будет говорить о творческой свободе как о реальной силе культуры. Недаром вся история литературы XX века, все взрывы, скачки и извилины отражаются и откликаются в каждой “маленькой” литературе. Это не является ни подражанием, ни следованием моде, это потребность каждого “маленького” языка обновляться. Смена кодов всегда кажется литературе гораздо важнее мнимой связи уже имеющихся кодов с реальностью (вспомним хотя бы то, что многим великим писателям XX века выпало счастье или несчастье жить в эпоху, когда происходила какая-нибудь из войн или мировых революций, когда рушились или рождалась государства — так ведь они по непонятным причинам отказались все эти события описывать и занимались совсем другими вещами). И становление новых кодов сейчас происходит в латышской прозе. Именно поэтому писатели живут в современной реальности, между собой клянут ее на все лады, но в своих текстах реализуют требования, которые слышат исходящими из глубин литературы.

*Инесе Треймане*

**Что происходит?\***

*Где искусство? В каком месте? Покажите мне его! —  
Взволнованный, он бросает взгляд на стол и даже сует  
нос за шкаф. — А знаете — искусства нет! Нигде не  
могу его найти! Может быть, кто-то взял и унес? Где  
оно, это ваше искусство, уважаемая?*

*Ричард Гавелюс. “Вильнюсский покер”*

Утро. Я сижу у стола и через кухонное окно наблюдаю, как солнце освещает крыши косыми лучами, как голубь лениво поднимает крылья. Я вижу, что еще прохладно. Из чего я это вижу? Лучей, полета голубя? Где-то очень отчетливо прозвучал детский голос, хлопнула дверь, в тесноту двора шум врывается с удвоенной силой, но несмотря на это я слышу и дальний паровозный свисток. И неизвестно почему, я вдруг знаю, что день будет теплый, последние остатки снега заскворчат, как сало на сковородке, и потекут в Бастионный канал, оставляя извилинами проеденные петли на всех склонах, и мне будет сопутствовать удача. Откуда я это знаю? Единственное объяснение — окно. Оно шлет мне свои знаки, своих вестников, я их складываю воедино, и так через окно постигаю мир, “понимаю” его порядок и может быть даже “свое место”. Точно так же я ищу соприкосновения и связи с миром в книгах. Там тоже — голуби, дети, снег, запахи, смрад, лилии, грязные дворы, чистое небо, пьяницы, оловянные солдатики, крысы, тишина, нищие и так до бесконечности. Знак за знаком, полон воздух знаков. Я их вдыхаю, ловлю руками, как скользких рыб, пытаюсь отведать по одной — и поедать дюжинами, но все равно не понимаю, какую весть шлет мне этот мир. Что происходит? Я пытаюсь угадать.

*Первая весть.* Мир сокращается. Мир становится меньше и дробится. Преобладающими становятся малые жанры — короткая проза, короткая рецензия, стихотворение из одной фразы. В латышских романах последних лет не достает эпического размаха, эпического мышления; романы дробятся на эпизоды, создаются в виде монтажа отдельных рассказов. В новейших рассказах чрезвычайно увеличивается емкость образов. В прозе Яниса Эйнфелдса, например, границы образа часто совпадают с границами предложения, в котором образ и рождается, и выходит в мир, и умирает, не оставив потомков. В сущности, это микрообразы. Идеология петлицы, апокалипсис заколки. Этот мир, может быть, так оповещает о недоверии всему, что больше человека, всему, что абстрактно. Этот мир больше доверяет вещам, чем идеям, больше телу, чем духу. Возможно, это компенсирует чувство беспомощности — беспомощности перед насилием, миллионами смертей, естественными катастрофами и вечной глупостью. Но, возможно, люди просто стараются жить в это мгновение, теперь, сейчас и полностью, с желанием прочувствовать каждый

\* Karogs, 1996, №4

миг и насладиться им. Потому что преемственность, связь с прошлым пунктирна и ненадежна, впереди — еще более темная тьма неведения. Сейчас свет проглядывает в петлице и играет на кончике заколки. Это реальность. И почему бы нет?

*Вторая повесть.* Бегство от идентичности. Проза сегодня весьма ощутимо поляризуется. Часть (главным образом авторы старшего поколения) усиленно обращается к автобиографическим жанрам, истории рода и места. Вряд ли только из-за того, что до сих пор некоторые периоды были табуированы и нельзя было высказать страдания от войны, ссылки, обид, нанесенных Чека, и других несправедливостей. С художественной точки зрения эта проза нередко остается на уровне хроники одной семьи, рода или края. Одна из жизненных историй, которая могла остаться и незаписанной, но вот — записана. Почему именно теперь? Почему столь интенсивна эта необходимость? Возможно, эта часть прозы неосознанно реагирует на противоположную тенденцию — желание утратить свою идентичность, избежать сетей времени и пространства, выскользнув из самого себя, как из пальто, и оставив только текст *per se*. Текст, в котором не имеют значения ни эпоха, ни среда, ни национальность. Эпоха — вневременная, среда — сказочная, национальность — смешанная. Еще одна Вавилонская башня. Возможно, и это тоже спасение от ненадежности и беспомощности перед миром. Спасение в мимикрии. Появление недоверия и разочарования. Потому что довольно уже литература классифицировалась, довольно время и власть натягивали ее на свои колодки. Довольно! Литература уходит принадлежать самой себе.

*Третья повесть.* Хочется попасть обратно в Рай. Прежде чем вкусить от Древа познания добра и зла, человек был невинен и гармоничен. Но потом мир пошатнулся, обрел свет и тени, динамику противоположностей. Теперь человек ощущает утомление и непрестанную необходимость оценивать, выбирать, решать. Новейшая проза идет этим путем в Рай, ее тенденция — нравственный релятивизм. К ней не подступиться, ее нельзя объяснить с помощью понятий *добро или зло, нравственность или греховность*. Человек как бы брошен в пространство без системы координат, в пространство, где нет больше ни правой стороны, ни левой, ни верха, ни низа. Все равноценно, относительно, изменчиво. Такова примета всего постмодерного общества — исчезновение этических критериев, их замена функциональными критериями. Возможно, что и таким способом человек бежит от себя, бежит от разума, чтобы вернуться к первозданному безумию, по ту сторону добра и зла. Но в действительности именно система координат, самим собой созданная ценностная ориентация являются главным показателем отличия человека, определяющим его идентичность. Эти перемены больше всего касаются критики, так как по сути отнимают у нее право высказывать ценностные суждения. Она остается лишь описательным жанром критики, которая *литературный текст* объясняет новым вариантом такого же *текста*. Аналитическая критика сокращается, особенно ощутимо в рецензиях. Критик, зачастую сам будучи писателем, продолжает авторский текст, сочиняя не рецензию, а дайджест рассказа или романа.

*Четвертая повесть.* Эстетизация страданий, боли и смерти. Близость или даже слияние любви и смерти особенно актуализируется в культуре начала XX века,

когда эти категории становятся главными параметрами существования и понимания человека. Может быть, с гораздо более древних времен в памяти литературы осталось иерархическое разделение жанров на высокие (трагические) и низкие (комические). Когда сегодняшняя литература ставит на кон свою некрофильскую карту, кто знает, может быть, она неосознанно является ребенком, который пытается заслужить награду за то, что он хороший (благородный), потому что — страдает. Страдания и боль как самоценность, как избавление. От чего? Неужели только-то и осталось счастья, что испытать болезненно-сладкое осознание невозможности счастья?

*Пятая весть.* Слишком быстро становятся банальными слова и ценности. Только мы успеем набрать воздуха, чтобы выговорить слово, как оно уже взлохотало, расцвело, рассыпалось в прах и, замусоленное до отвращения в чужих устах, потеряло смысл. Тогда лучше его не произносить. Или отнять у него смысл прежде, чем слово само его утратит, таким образом высмеив и одурачив слово. (Именно так делает Янис Эйнфелдс.) То же самое относится и к эмоциональному проявлению. В страхе перед банальностью литература избегает демонстрировать четкое эмоциональное состояние. Новейшая проза по большей части дистанцирована, иронически или рассудочно отстранена от проявления чувств. Чувства смятенны, неопределенны, шатки, скрыты. Поступки бывают экзальтированные, необычные или извращенные, но эмоции остаются спокойны и ровны. Но есть исключение — Гундега Репше и Валдис Фелсбергс. Интересно, что на разном уровне, но оба они, кажется, совершенно неосознанно используют имеющие спрос во всем мире вещи — интригующий сюжет, динамичное действие и недвусмысленные, чистые эмоциональные состояния.

*Шестая весть.* Мы никогда не сможем договориться. Одни будут звать — *где искусство? в каком месте? покажите мне его!* А мы не сумеем его показать, потому что критериев не найти. Один из вариантов — искусство (литература) есть конвенция. То, что мы, даже не сговариваясь, договорились воспринимать, как литературу, — это и есть литература. Каждое время, поколение, место договариваются немножечко о чем-то другом. О контексте, о знаках, которые нам передают сигнал — внимание, рой здесь, здесь есть. Например, записка в кухне: "Картошка в духовке, полей соусом". На кухонном столе это текст записки. Даже если мы этот листок положим в книгу — между другими листами, которые наполнены текстом, — он все же не делается умнее, не становится литературой. По крайней мере, до сих пор не было такой конвенции. Он остается "запиской на кухонном столе", пока кто-нибудь не обработает его по принятым стандартам — не запишет в контекст, не замешает в тесто из рассказа или романа, не украсит аппетитными изюминками, чтобы затем, открыв книгу, мы бы и не узнали свою золушку. *Это рассказ, — скажем мы. — Это литература.*

## ЭСКАПИЗМ КАК ПОДОСНОВА РУССКО-БАЛТИЙСКОГО БЫТИЯ

Узкое значение термина “эскапизм”, употреблявшегося применительно к западной литературе (у нас он хождения не имел в силу неприменяемости к советской литературе) – отказ писателя от описания реальной действительности, уход, бегство в область отрешенности от злобы дня и создание иной действительности. Но по смыслу, а слово *escape* имеет и смысл, каковой всегда шире значения, – это бегство вообще, в широком смысле, и в историческом, и в современном, и в психологическом.

Статья эта, по сути дела, – размышления, порожденные заданным термином “саморефлексия”. Что ощущаю, то и говорю.

Тема “бегства” всегда стояла на повестке дня нашего бытия, хотя сейчас кажется, что это феномен всего лишь “доперестроечного” прошлого. Напомню статью Виктора Некипелова “Хлеб – беженцы”:

“Бегство из коммунистического, социалистического, народно-демократического и т.п. “рая” происходит повсеместно и постоянно. Оно совершается беспрерывно, каждую текущую минуту, и если вот сейчас, в это мгновение, кто-то не шагнул через пограничную полосу, то обдумывает, как это сделать... Они уходят от духа рабства, от подчинения Молоху обязательной идеологии, от безбожия, цензурованного чтива, от скуки и лжи - от чисто физической непрочности собственного бытия”<sup>1</sup>.

Сказанное Некипеловым сфокусировано только на последний отрезок времени существования СССР, и создается впечатление, что бежали только от коммунизма.

В действительности же бежали всегда. Бегство как бы имманентно русскому народу.

В чрезвычайно интересной книге Светланы Лурье “Метаморфозы традиционного сознания”<sup>2</sup> имеется глава “Российская государственность и русская община”, дающая возможность увидеть русскую историю в ином ракурсе, нежели ее основоположно нарисовал Карамзин, создавший версию о сознательном и целенаправленном собирании земель вокруг Москвы, слипавшихся в мощное государство. Так сказать, имелся в виду некий центростремительный вектор.

На самом же деле был и центробежный, - кто-то собирал, а кто-то от этого убегал.

“Когда автор XIX века Л.Сокольский, - пишет С.Лурье, - говорит, что “бегство и уход от государственной власти составляли все содержание народной истории России”, то кажется, что он недалек от истины. Народ упорно не признавал над собой единящей, сглаживающей все различия и препятствующей самодеятельности государственной власти... Для него Третий Римом было не Российское государство, а он сам, русский народ. Любое место, где живут русские,



уже тем самым становится Россией, вне зависимости от того, включено ли оно в состав Российской государственной территории. Это и давало возможность бежать от государства. Россию беглецы несли с собой... Связь русских крестьян с Российским государством была поверхностной. Они охотно уходили за его пределы. Россия была синонимом "миру". Как "мир" Россия не знала границ - она везде, где поселятся русские..."<sup>3</sup>

Если бегство на безбрежный Восток иногда можно считать скорее постепенным уходом, продвижением в глубь неосвоенных пределов и освоением "ничейной" земли (хотя побудительным мотивом было все-таки бегство!), то на Запад исключительно бежали, с преодолением рубежей, преград, с нарушением всяческих законов.

Явление это довольно подробно рассматривает А.А.Заварина в книге "Русское население Восточной Латвии во второй половине XIX - начале XX века"<sup>4</sup>.

Бежали, чтобы избавиться от непосильной кабалы, от рекрутчины, от податей, бежали, чтобы обрести свободу вероисповедания и в надежде иметь дело с правым судом. Пограничные заставы были порой чисто условные. Вся надежда властей была на то, что беглецов, буде их сыщут, - выдадут. Но надежды часто не оправдывались.

Помещица С.Черкесова жаловалась генерал-губернатору А.А.Суворову:

"Зло, которое происходит от проживающих в Риге беглых людей моих, слышном ищутимо для меня... Имеют родных в моем имении, которые, бывая в Риге по делам, видятся с ними и, увлекаясь их положением и полученной безнаказанно ими свободой, делают из моего имения побеги в надежде на их покровительство" (стр.32).

Ей вторит полковник Ф.Востоков:

"Курляндцы в отдалеке как российских, так и лифляндских укрывающихся тамо беглых поступают весьма неохотно и делают многие затруднения и интриги к продолжению времени"(стр.24).

И как бы показывая им язык, управляющий имением по другую сторону границы, поляк Игнатий Омпульский заявляет:

"Пусть Россия делает что угодно, пусть силою содержит сильнейшую стражу на границе, пусть отбирает силою людей из нашего края, это только повредит нашей стране и нашим имениям, расположенным вблизи кордона, но не прекратит эмиграции крестьян из России, если в последней не будет улучшения положения крестьян"(стр.25).

При всей архаической лексике картина удивительно напоминает совсем недавнее прошлое.

Если свидетельства, которым 150-200 лет, оставляют нас спокойными, поскольку беглецы в них предстают безгласными и безымянными, а стенания помещиков нас не трогают, то все-таки и статистические судьбы о чем-то говорят.

А уж чем ближе к нам, тем зримее предстает этот феномен бегства, бегства повального, тем более, что трагизм последнего гигантского исхода передала люди, отлично владеющие пером. Вспомним, как рассказывает о своем бегстве Тэффи, каким драматическим было бегство через Днестр М.С.Мильруда (впоследствии редактора рижской газеты "Сегодня"), после которого маленькая

сын его на долгое время лишился речи: ему было строго наказано не выдать себя в лодке ни единым звуком, – и это выключило его дар слова. Как передал такой же побег – уже стихом – Петр Потемкин, каким кошмаром выглядело бегство из Псковщины в Эстонию после отката Северо-западной армии: сотни тел, вмерзших в лед Чудского озера (см. Вяч.Шишков. “Пейпус-озеро”).

Пока границы не закрылись, бежали на все четыре стороны, – больше на юг, в Киев, в Одессу, в Севастополь. А оттуда оставалось уже только в Константинополь. Бежали на Восток – с Колчаком, Пепеляевым, Семеновым. Бежали, пока на всех рубежах не утвердился абсолютный пограничник Карацупа с надежным псом Индусом, который ловил беглецов и передавал их другому Карацупе, конвойных войск, с верным псом Русланом.

Между I и II войнами бежали в основном те, кого называли “невозвращенцами”, неосторожно выпущенные ученые, дипломаты, торгпреды. Бежали и карацупы, наиболее вредных из них ликвидировали и за рубежом.

Готовы были бежать и крестьяне. И не случайна провокация ГПУ, подбросившего сообщение о том, что возможен исход в Латвию в 1930 году. Бегства не было – преграждение имелось прочное – но для него были все основания (коллективизация, голод). И на это клюнула газета “Сегодня”, выславшая на границу специального корреспондента Оречкина, а когда он не дождался сенсации и даже скомпрометировал себя – его же и обвинили в “белогвардейской провокации”.

Новый массовый побег начался с концом II войны и после нее, пока не удалось вырастить Карацупу польского, венгерского, болгарского и немецкого. Апофеозом борьбы с Бегством явилась Берлинская стена, показавшая всему миру, что такое бегство из Империи и из завоеванных провинций.

После этого Бегство приобрело иные формы.

У американского фантаста Бестера есть рассказ “Феномен исчезновения”. В разгаре кошмарной ядерной войны, в Америке, ушедшей под землю, но продолжающей сражаться, среди травмированных войной возникает феномен исчезновения из этого мира – бегство в прошлое, причем в прошлое такое, каким его эти люди представляли, не аутентичное, но тем не менее укрывающее.

И в нашей действительности, прочно огражденной берлинскими и прочими стенами, когда невозможно было бежать физически, оставалось бежать в самого себя, в созданный своим воображением мир. Вот это и был собственно эскапизм.

Вспомним, как Владимир Буковский рисует в камере замок со множеством деталей, помогающих как бы переселиться в него.

Об этом же говорит “Поэма без героя” Ахматовой.

*Из года сорокового,  
Как с башни, на все гляжу.  
Как будто прощаюсь снова  
С тем, с чем давно простилась,  
Как будто перекрестилась,  
И под темные своды схожу.*

И второй смысл имеет сказанное:

*Мне не уехать без тебя –  
Беглянка, беженка, поэма.*

Убегали кто как мог. Кто-то, как, скажем, В.Аксенов, – в джаз, кто-то в Ремарка с его загадочным кальвадосом. Помогал поведенческий эскапизм юности, благодаря ему создавалась капсула личности.

В общем все это называлось “внутренней эмиграцией”.

Формы бегства были многообразны. Бегство Д.Самойлова из Москвы – в Париж, и бегство С.Довлатова из Ленинграда – в Таллинн.

В уже названной книге С.Лурье говорится о том, что по мере того, как русские крестьяне уходили на Восток, обосновываясь там, обживались, пускали корни, – Держава догоняла их, вновь накладывала свою лапу, с места, однако, не сгоняла, но заставляла вновь платить налоги и подати.

В 1940 году Держава вновь догнала беглецов в Прибалтике, но уже не довольствовалась выражением покорности и лояльности, готовности платить подати, а согнала с места многие тысячи и переправила на Восток и на Север.

И уже последним символом коллективного бегства из Империи было бегство Балтийских стран *in corpore*. Именно такое название носит статья Леонида Млечина: “Балтийский путь: бегство из СССР?” “В этом желании, – пишет Млечин, – есть, возможно, некоторая иррациональная составляющая, но ее-то труднее всего оспорить. Новый национализм хозяйничает по всей территории бывшего социалистического лагеря – своего рода страшная месть за то, что загнано в подполье”<sup>5</sup>.

А зачем излагаются эти в сущности известные вещи? Чтобы подвести к утверждению, что мы здесь – *производное России, которая вечно убегает сама от себя*.

У кого-то здесь беглый прадед, у кого-то отец, кто-то вроде бы явился сам, но почему именно...

Те, у кого “родословная” постарше, порою смотрят на “свежих” несколько свысока: мы *old-timer*’ы и законно представляем среду и даже страну. Хотя у тех и у других не столь уж глубокие корни.

И вообще у местного русского наблюдается некоторая неуверенность в своей истории и сегодняшнем дне. Он, как говорил Чаадаев, – “не руководимый ощущением *непрерывной длительности*, чувствует себя заблудившимся в мире”. “Непрерывной длительности” мешало то, что Держава все время пульсировала и то выплескивала, то вбирала местных русских. И все же и при частых исторических всплесках складывалась какая-то среда беженцев.

Как Австралия – страна бывших каторжников, так Прибалтика – страна бывших русских беглецов. И эта эмиграция значительно отличалась и отличается от всей русской диаспоры. Почему? Ведь бежали, как уже говорилось, на все четыре стороны и оседали чуть ли не во всех концах света. Но русские Прибалтики не сходны ни с одной другой эмиграцией, потому что здесь все последующие беглецы попадали на почву, подготовленную предыдущими, так что им легче было укорениться. В этом отношении несколько сходной была лишь эмиграция харбинская, где имелся субстрат русскости. Харбин, как известно, был по сути русским городом, с православными церквями, гимназиями, театром, газетами и проч. Недаром его называли “малым слепком России”.

Чтобы понять саморефлексию местных русских, следует учитывать и рефлексию русских мимоезжих.

Еще два века назад мы приглядывались к коренным жителям с какой-то примеркой к своему состоянию. Так П.А.Вяземский писал:

“Был сегодня в эстляндской церкви. В темной глубине ее живописно пестрят разноцветные шапки эстляндок. Приятно видеть эту чернь грамотную с молитвенниками в руках. Перед выходом две старухи подходили друг к другу, приветствовались рукопожатиями и одна у другой поцеловала руку. Я говорю, если привелось быть русским подданным, зачем бы уж не родиться эстляндцем, лифляндцем, курляндцем? Все же у них есть какое-то минувшее, на котором опирается настоящее с правами своими<sup>6</sup>.”

А полтора века спустя нечто сходное высказал Ю.Казаков в письме к Конечному:

“Был я в Печорах, городок божественный, забрались мы и в Эстонию, там так, мой милый, хорошо, что жалею, почему я не эстонец<sup>7</sup>.”

И уже в современном духе с неизменной иронией, но вполне трезво передает свое открытие Прибалтики М.Жванецкий двадцать лет назад:

“Мой Запад. Доступный мне Запад. Запад моего паспорта. Который дает мне право на неограниченное передвижение в среде, ограниченной моими пограничниками...”

Это Прибалтика. Географически и человечески. Ближе к Европе. Кафе у них. Сливки сбитые. Буквы латинские, что поражает и утихомиривает. И совершенно неясный и непонятный эстонский язык. Там уж я посижу, как иностранец с переводчиком, в темноте, в полупустом баре. Это тоже Запад – полупустой бар. И ночью пойду глядеть Средневековье. Ригу и Таллин. И католиков, и их высокие-высокие соборы со скамьями и органом, где музыка льется на спину и хочется верить, что не умрешь, что царство небесное не отменили, а что-то будет. Потому что нельзя же так просто – упал и перестал. И все остается людям, и что-то остается детям. Это понятно. А хочется для себя. Хочется произрасти в чем-то или перейти во что-то и посмотреть, что будет. Об этом тоже можно думать среди чистых деревьев, и домиков, и молока, и пахучего масла.

А когда мне наскучит тишина и вежливость, я рухну в Москву...<sup>8</sup>.”

Характерно, что все высказывания связаны с церковью, что позволяет предполагать, что имеет место какая-то неудовлетворенность собою и своим, так сказать, локусом, что смутно манит возможность “входить” в какие-то иные рамки.

Если признать справедливыми слова Достоевского – устами Версилова, – что “русские люди вообще широкие люди, широкие, как их земля и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному”, – то справедливо будет и допущение, что возможно существование русских, которые стремятся к “узости”, предпочитая “беспорядочности” порядок. А Остзейский край и ставил превыше всего именно *Ordnung*. Стремление к четким рамкам, к реалистическому началу в противоположность “фантастическому” возможно было только вне пределов России, в ино-этнической и ино-правовой среде: в российской действительности все рамки и все узаконения как правило размывались и развигались под воздействием “широкой” природы россиянина.

Орднунг, законы, кодификация были характерны для местного края давно.

*Faustrecht* существовал лишь на первых порах, когда туземцы “лобзали рыцарскую шпору”<sup>9</sup>. Потом, когда начались сложные отношения между орденом, епископом, легатами, городами, церковным, мызным и гильдейским судами, неизбежно возрастала роль стряпчего, кодекса, закона и разных герихтов. Необходимо считаться с законом постепенно вошла в кровь и плоть края.

И если большинство русских отшатывались от этого законопослушания, от “узости”, противной русской “шири”, то для кого-то оно имело свою притягательность, сказывалось подспудное желание уйти под сень закона, пусть даже и сурового. Надеждой на это было хотя бы окружение латинского алфавита, навевающего смутную мысль о Римском праве или Кодексе Наполеона.

Понятие “эмиграция” расслоилось. Историей стала эмиграция как преступление – времен СССР. И обыденностью стала современная эмиграция, просто синонимом переезда на иное место жительства и иногосударственное бытование.

Этим словом уже можно пользоваться для объяснения своего состояния раздвоенности, это уже не побег, а бег на месте. Ощущение возникших (возникающих) рубежей – и рубежей преодолеваемых, оставляемых позади, чаще всего психологически. А иногда и необходимость смириться с этим чисто психологическим “эмигрантским комплексом”. Словом, эмиграция становится некоей стилистической фигурой, метафорическим образом, передающим внутреннее состояние раздвоенности.

Пример – песенка Окуджавы. где Арбат – бывлая родина, а проспект Мира – это уже эмигрантская чужбина. “Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.../Я выдворен, затерян среди чужих судеб./ И горек мне мой сладкий,/ мой эмигрантский хлеб”.

Но если у Окуджавы это пастельная лирика, то Евтушенко, всегда молниеносно подбирающий то, что “не свое – не чужое”, расписывает понятие “эмиграция” малярной кистью, плакатно

Сам себе я чужой на чужбине...  
 Неужели я не тот, что прежде,  
 Полууоставший от  
 Чувства отвращения к надежде,  
 Выкинувшей столь бесплодный плод?..  
 Пятая волна – начало моря,  
 Но куда ты гонишь нас, куда  
 полуэмиграция от горя,  
 разочарованья и стыда?  
 ...Родина от родины уедет,  
 если все уедут из нее...<sup>10</sup>

Чужестранцем можно становиться и в своей стране. Эта “чужость” проявляется хотя бы в сфере языка, когда перестают понимать друг друга.

“В России почти у каждого свой язык... Знающие слово “самодовлеющий” почти не понимают тех своих соплеменников, которые говорят “чирик” и “замочу”. Похоже, скорей, на то, что русский язык несет в себе мощное воспитующее начало, способное возвысить или уронить начинающего человека в зависимости от его речевой среды. Иначе нам никак не истолковать тот интересный

факт, что хорошие люди у нас объясняются живописно и горячо, а жулики, в диапазоне от наперсточников до партийных функционеров, объясняются кое-как, через пень-колоду, точно они скрытые иностранцы или даже пришельцы с других планет<sup>11</sup>.

Разумеется, мы, здешние, не можем уравнивать наше существование с евтушенковским "ощущением себя полуэмигрантом", с примеркой себя к этому состоянию. Мы действительно эмигранты, не по своей воле, но разделяя судьбу своих предков и предшественников. Мы – эмигранты уже потому, что испытываем, в отличие от евтушенковского душевного терзания, почти физический прессинг.

А ведь все это полвека назад было предсказано Г.Федотовым, говорившем о будущем, которое теперь наше настоящее:

"Коммунизм сгинет вместе со своими идеологическими катехизисами. Но Московия останется. Останется тоталитарное государство, крепкое не только полицейской силой, но и тысячелетним инстинктом рабства"<sup>12</sup>.

То есть и сейчас остается призрак того, от чего мы бежали. И сейчас только внутренне отталкиваемся от него. И каково же положение здесь, куда мы бежали? "При насильственном свержении большевистской диктатуры Россию, несомненно ждет взрыв национальных восстаний. Ряд народностей потребуют отделения от России, – и свой счет коммунистам превратят в счет русскому народу"<sup>13</sup>.

А поскольку мы ближе всех, то счет предъявляют в первую очередь нам. И зажатые между молотом и наковальней, мы, пребывая в эмиграции, вынуждены уходить еще и во внутреннюю эмиграцию, не находя опоры в межкультурном общении. Тоже эскапистское состояние.

Эмиграция "классическая", первой волны, задавшая первоначальный тон, преобладающий и по сю пору, лишь изредка пыталась заглянуть себе "в душу", без разговора о политике, военном прошлом, без поисков виновных и т.п.. Но одной из таких попыток был доклад Анатолия Алферова "Эмигрантские будни", прочитанный в "Зеленой лампе"<sup>14</sup>:

"Мы верим в возвращение на родину и ждем его со сладким замиранием сердца, но родину-то нашу – теперешнюю, именно теперь показавшую нам всю свою наготу – мы почти ненавидим...

Ни одна политическая система не может теперь пользоваться хоть сколько-нибудь длительным успехом – мы бессильны учесть бесформенные российские построения, даже определить толком собственные свои, личные нужды..."

Ирина Сабурова, описывая среду Ди-Пи, состоящую из бывших прибалтов, выводит в книге "О нас"<sup>15</sup> эстонца Юкку Кивисилда, который так характеризует положение:

"Лет через пять нас начнут слушать, раньше не услышат, не мечтайте. А лет через десять начнут задавать вопросы. И если еще двадцать лет пройдет в таких объяснениях, то скажут нам, наконец: мы вас слушали и поняли, но вы говорите о том, что было двадцать лет назад, а за это время произошли разные другие события, народилось новое поколение, и там и здесь, и вы уже не знаете ни новых условий, ни жизни..."

Это звучало убедительно для ситуации 40-х годов, и действительно уже как

бы утратила дух жив та атмосфера, шкала ценностей, фактография тех дней: и не одно поколение уже народилось, а три, и границы поменялись, и государства переродились, - время ставит вопросы иначе, масштабнее, тем не менее внимания и интерес все равно остаются.

Чем сейчас занимаются литературоведы, филологи, историки, библиографы, т.е. большинство из нас? Тем, что *было порождено бегством*: инвентаризацией и каталогизацией эскапистского материала, заполнением лакун, пересмотром репутаций, стремлением вникнуть в состояние беглеца, изгоя, отторгнутого и отторгающего.

Образовалось целое поколение исследователей, выросшее из небольшой группы знатоков "серебряного века", унесенного из России беглецами.

Чем объясняется этот обостренный интерес к данному материалу? Только ли инерционной тягой к запретному до недавнего времени плоду? В какой-то мере так, но в большей мере пониманием, что вся история беженства – это и есть подлинная история, отразившаяся в литературе, жизнь в форме жизни, а не то, что нам навязывали – некий мир фикций, декораций, то и дело меняющихся из-за меняющегося сценария.

И если сначала было просто невмоготу – "отравлен хлеб, и воздух выпит"... – то теперь предпочитают в сторону советской литературы с ее соцреализмом не смотреть, оставив это историкам литературы, для которых, как и для врачей, любая патология подлежит рассмотрению.

Сейчас наблюдается не столько исход из России, бурная волна сошла, сколько медленный исток с одновременным образованием сообщающихся сосудов и каналов. И возникает вопрос – эмиграция ли это в привычном понимании? И каково же взаимодействие этих людей с оставленной родиной, кем она для них является – воспоминанием, ностальгической ноткой, смыслом существования даже на чужбине?

Об этом как бы специально написана статья Анны Великановой "Инициация и эмиграция"<sup>16</sup>.

Основой статьи служит притча о блудном сыне, покинувшем дом Отца. Казалось бы, в данной ситуации больше подходит традиционный образ Матери-родины. Но в силу именно традиционности, почти тривиальности он может только варьировать один мотив – любовь к Родине, более или менее развернутым завершением в этом. Начиная от "За что тебя любить? какая ты нам мать" (Якубович-Мельшин) до "Небо – как колокол,/ Месяц – язык,/ Мать моя – родина,/ Я большевик" (Есенин). Тогда как притча о младшем сыне имеет весьма расширительный образ, Отец – прежде всего символ духовного богатства, часть которого получил сын, уходя. Правда, до поры до времени он не сознает ценность этого.

Перед сыном эмигранта, пишет А.Великанова, стоит сложнейшая задача: он должен нищету, позор и страх осознать как дары, как положенную ему часть имения, такие же дары, как Православие или русская культура.

"Что он знает о себе? Что он эмигрант – это немного и неинтересно. Он говорит по-русски – ну и что, это же родной язык. Он православный – ну так что? Его же родители крестили.

Да, у него нет родины, но зато он способен любить и оставленную родину

не так, как любят западные обыватели землю, на которой живут, – он любит ее без чванства, без самодовольства. Он и другие страны умеет любить, а люди, богатые родиной, ничего не знают о других странах. И он постоянно боится, а они не боятся, непуганы, но если их напугать – как быстро они впадут в ничтожество! А ему пришлось научиться жить со страхом, то есть подавлять его.

Учеба, работа, творчество – вот тот посох, опираясь на который, он сможет дойти до дому, то, что соберет его и сделает взрослым”.

Сознавая, что все это может показаться также тривиальностью, Великанова заключает сказанное так: “Вся моя речь написана так: как будто всем известно, какую сумму идей, убеждений и нравственных принципов я подразумеваю под наследством, которое получает сын, и родительским домом, куда он возвращается. Мне было бы чрезвычайно трудно, а может быть, невозможно опередить этот круг идей или даже круг лиц, обладающих этими взглядами, точнее, чем это получилось. Я надеюсь, что те, к кому обращена моя речь, поймут ее без дополнительных разъяснений”.

Мне думается, должно быть ясно, что возвращение в дом отнюдь не подразумевает непременно физическое возвращение в Москву или Петербург.

Напомню то, что говорилось в начале статьи при цитировании Л.Сокольского: “Любое место, где живут русские, уже тем самым становится Россией, вне зависимости от того, включено ли оно в состав Российской государственной территории”.

И возвращение к Отцу, неосязаемому, но убедительному духовному образу, может происходить и здесь. Для христианина это очень понятно, но в какой-то мере должно быть понятно и для того, кто настроен на эту духовную волну.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. “Континснт”, 1980, № 25.
2. С.Лурье. “Метаморфозы традиционного сознания”. Спб., 1994.
3. С.Лурье. Метаморфозы... С.137.
4. А.А.Заварина. Русское население Восточной Латвии во второй половине XIX–начале XX века. Рига, “Зинатнс”, 1986.
5. “Ригас балсс”, 25 июля 1990.
6. П.А.Вяземский. Записные книжки. М., 1963. С.188.
7. В.Консцкий. Некоторым образом драма. Л., 1989. С.28.
8. М.Жванецкий. Встречи на улицах. М., “Искусство”, 1980. С.137.
9. Ф.Тютчев. “Через ливонские я проезжал поля...”
10. Литературная газета, 29 декабря 1993, № 51-52.
11. В.Пьсхух. О течении языка. – “Дружба народов”, 1995, № 2, С.4.
12. Г.Федотов. Судьба и грехи России. СПб., 1991, т. II. С.232.
13. Г.Федотов. Судьба и грехи..., т. I. С. 243.
14. “Числа”, Париж, № 9. С. 202.
15. Ирина Сабурова. О нас. Мюнхен, 1972. С. 91.
16. А.Великанова. Инициация и эмиграция. – Вестник русского христианского движения, 1986, № 146. С.259; Искусство кино, 1994, № 7. С. 44



## РУССКИЕ В ПЕРВОЙ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**С.Г.Исаков. Русские в Эстонии (1918—1940). Историко-культурные очерки. Тарту: Greif, 1996. 400 с.**

О русских в Прибалтике теперь говорят и пишут много, но хорошо ли знаем мы свою историю, свои корни? Кое-что в этом направлении делается. Вышел прекрасный учебник для русских детей проф. Б.Инфантсва и А.Лосева “Латвия в судьбе и творчестве русских писателей” (Рига, 1994), в Литве издан сборник “Русские Прибалтики: механизм культурной интеграции (до 1940)”, в русских издательствах Эстонии в прошлые годы также вышло несколько интересных книг. В Таллинне в издательстве “Авенариус” изданы три тома “Балтийского архива” (Русская культура в Прибалтике), в котором также приняли участие исследователи из Латвии и Литвы. Под эгидой русского исследовательского центра при Совете славянских просветительных и благотворительных обществ вышло второе издание словника “Русские общественные и культурные деятели Эстонии”, подготовленного профессором С.Г.Исаковым, и, наконец, в Тарту в издательстве “Greif” при поддержке фонда “Культурный Капитал Эстонии” — еще одна книга уважаемого профессора — “Русские в Эстонии”. На последней хотелось бы остановиться особо, так как она

является серьезной заявкой на то, чтобы научно обосновать тот факт, что история и культура русских в Прибалтике вполне достойны быть самостоятельным объектом исследования. Книга С.Г.Исакова исполнена с обычным тщанием, присущим исследовательскому почерку ученого.

Знаменательно посвящение, данное автором: *Памяти русских общественных и культурных деятелей в Эстонской республике 1918-1940 г., знаменитых и безвестных*. В посвящении отразилось стремление проф. Исакова занесть в свое изложение события и лица, долгое время находившиеся в зоне политического табу. Это и подступ к систематическому и научному исследованию темы, а пока что автор именует свой многолетний труд историко-культурными очерками, а не монографией, специально подчеркивая этот факт в предисловии. Отметим, что это отнюдь не умаляет значение данной книги как для науки, так и для массового читателя.

Кратко охарактеризуем структуру книги “Русские в Эстонии”. Построение ее таково: вначале помещены написанные в разное время и опубликованные в различных журналах и

сборниках обширные статьи об общественной и культурной жизни русских в Эстонии 1919–20, 1920–40 гг., в том числе работы по истории певческих праздников, о Лаврецовском музее в Нарве, о литературных и научных объединениях, а также о важном идеологическом течении в русском зарубежье 1920–30 гг., не обошедшем и жизнь русских в Эстонской республике, — свразийстве. В этом разделе программные для профессора Исакова статьи, в них он высказал свой взгляд на процесс формирования русской общины в Эстонии, выделил основных его участников в личном и общественном планах, главные направления общественной, политической, культурной жизни страны. Отмечены зачатки процесса интеграции русских в эстонское общество, процесса, конечно, весьма противоречивого, выразившегося прежде всего в формировании самостоятельной русской культуры в недрах эстонского общества, прерванного известными событиями 1940 г.

В раздел “Из истории русской периодической печати” выделены две работы. В первой из них анализируется возникновение, развитие, ликвидация, содержание и направление газеты “Свободная Россия” (“Свобода России”, “За свободу России”), которая издавалась в 1919–20 гг.; в ней, между прочим, сотрудничал А.И.Куприн. Вторая статья посвящена эсеровским изданиям, прежде всего газете “Народное дело” (“За народное дело”, 1920–21), где главными сотрудниками выступали известные в свое время журналисты А.Да-

манская и Г.Вельский (Сосунов). Этот раздел может служить серьезной основой для изучения истории русской журналистики не только в Эстонии, но и русской эмиграции в целом. Надеемся, что проф. Исаков продолжит свои исследования в этой области.

Еще треть объема книги занимает раздел “Русские писатели Эстонии”. Здесь в одних случаях чуть ли не монографически (И.Северянин), в других — в виде очерка (А.Т.Аверченко, Б.В.Правдин, В.Е.Гуцник, В.А.Никифоров-Волгин, Б.А.Нарциссов) исследуются судьбы и творчество литераторов, чьи имена неразрывно связаны с историей русской литературы в эмиграции. Открытие некоторых из них — заслуга проф.Исакова. Никто до него не касался творчества “писателей второго ряда”, например, прозаика В.А.Никифорова-Волгина (“Забытый писатель В.А.Никифоров-Волгин”), талантливого автора неопубликованных воспоминаний о Куприне писателя и агента НКВД В.Е.Гуцника или поэтического наследия лектора русского языка и литературы в Тартуском университете, души Юрьевского цеха поэтов Б.В.Правдина. Повествование о них построено на архивных материалах рукописного отдела Пушкинского Дома в Петербурге, Литературного музея Эстонии, филиала Госархива Эстонии (бывший партархив, здесь хранятся следственные дела из архива КГБ), Исторического архива Эстонии, редких мемуарах, тщательно проработанной периодике тех лет, наконец, бесценных устных вос-

номинаниях, впервые обнаруженных в работах проф.Исакова. Однотипное построение глав: краткая биографическая справка, анализ творчества, общая оценка и попытка иерархии — помогает воспринимать и сопоставлять материал, несмотря на обилие новых имен и названий. В очерках много цитат. Иногда цитаты перерастают в публикации целых произведений. Например, в очерке об Аркадии Аверченко в качестве приложения напечатан его фельетон “Отцы города Нарва” (впервые опубликован в газете “Последние известия” за 1923 г.), в статье “Забывтый писатель” полностью приведен сонет Игоря Северянина, посвященный Никифорову-Волгину (газета “Вестник” за 1936 г.), опубликован ряд стихов другого члена Юрьевского цеха поэтов, а с 1933 г. Ревельского цеха поэтов Бориса Нарциссова.

Завершающая глава “Портреты” — история в лицах — представляет собой часть материалов к давнишнему научному проекту С.Г.Исакова — биографическому словарю “Русские общественные и культурные деятели в Эстонии” (см. “Даугава”, 1997, № 2). В начале рецензии мы уже упоминали о втором издании первого тома словника планируемого лексикона, и 21 статья части “Портреты” — это подступ к осуществлению данного проекта, о чем свидетельствует и алфавитное расположение предлагаемого материала. Единственность, чего в них недостает, так

это присутствия хотя бы минимального научно-справочного аппарата. Но в этом автора упрекнуть нельзя, так как выбранный им жанр повествования, что специально оговорено во введении, позволяет опустить часть справок из текста, и без того перегруженного фактами.

Книга снабжена библиографическими примечаниями, из которых читатель может узнать о первопубликациях предлагаемых очерков, и именным указателем, составленным М.Э.Коор.

Итак, перед нами 400 страниц интереснейшей истории русской культуры зарубежья и нашей малой родины. Мимо этой книги не может равнодушно пройти ни один исследователь, учитель, краевед и просто каждый человек, кто помнит о своих корнях и хочет понять свое место в мире. Настоящая книга является основательным фундаментом к исследовательской теме “Русские в Эстонии 1918 — 1940”, которую при поддержке Эстонского Научного Фонда и под руководством профессора Исакова разрабатывает группа ученых в составе филологов, историков, искусствоведов. Основные направления и источники исследования уже вполне обозначены в историко-культурных очерках проф.С.Г.Исакова, но все-таки будем ждать новых открытий.

*Татьяна Шор,  
Исторический архив Эстонии*

---

## ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

**Дымов М.** [Составитель] Дети пишут Богу. Р. "Vaidelote". 1997. 168 с.

**Коваль Л.** Часы любви. Стихи и проза. <Р.>. Общество истории гетто и геноцида евреев. 1997. 304 с.

**Михайлов Т.А.** Политология. Учебное пособие. Р. "SIA JUMI". 1997. 336 с.

**Осина Ф.** Азы. [Стихи] Изд-во Латгальского культурного центра. Резекне. 1997. 52 с.

**Трейс Р.** История латышской журналистики. Учебное пособие. Р. Балтийский русский институт. 1996. 120 с.

**Brūģis D.** Historisma pils Latvijā. R. Sorosa Fonds — Latvija. 1997. 320 lpp. (Исторические замки в Латвии).

Альбом-монография, посвященный усадебной архитектуре Латвии.

**Latgale un Daugavpils: vēsture un kultūra. Rakstu krājums.** Латгалия и Даугавпилс. Сборник статей. Daugavpils. А.К.А. 1996. 164 lpp.

**Philologia.** Рижский филологический сборник. Выпуск 2. Словесность и эволюция культуры. Р. Латвийский университет. 1997. 158 с.

**The Latvian Legion. Heroes, nazis, or victims? A Collection of documents. From OSS War-Crimes investigation files 1945-1950.** A. Ezergailis Editor. The Historical Institute of Latvia. Rīga. 102 p. (Латышский легион. Герои, нацисты или жертвы? Коллекция документов.)

**Vēbers Ē.** Latvijas valsts un etniskās minoritātes. R. Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūta Etnisko pētījumu centrs. 1997. 166 lpp. (Латвийское государство и этнические меньшинства.)

**Vulfsons M.** Kārtis uz galda! R. "Liesma". 1997. 208 lpp. (Карты на стол!)

Воспоминания и размышления одного из активистов эпохи "перестройки".

**Zichmanis M.** Bez mātes valodas nav nācijas, nav valsts. Toronto. Autora izdevums. 1995. 130 lpp. (Без языка нет нации, нет государства.)

Книга посвящена Я. Давису (1867-1958), педагогу, автору многочисленных школьных пособий на русском и латышском языках, публицисту.

---

## УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Наш индекс 2059 в каталоге  
LATVIJAS PASTS - спрашивайте во всех отделениях связи.

Подписаться можно также  
в Центре подписки "Диена" и во всех его филиалах.

Подписка принимается с любого номера.



## УВАЖАЕМЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

В 1998 году журнал будет выходить как обычно -  
6 раз в год.

Стоимость подписки с доставкой (в ценах 1997 года):  
на 6 месяцев - 82 500 руб.  
на год - 165 000 руб.

Услуги почты в этом году столь велики, что мы даже не включили журнал в каталог подписных изданий "Роспечать" на 1998 г. и предлагаем получать его непосредственно через экспедицию журнала. Чтобы подписаться, нужно:

1. Перечислить стоимость полугодовой (или годовой) подписки через следующие российские банки или их филиалы:

Банк-отправитель	Банк-получатель
1. <b>АКБ АВТОБАНК</b> , Москва, Россия. Код банка 044541774 № корсчета 774161100	ИНН 7707027313 <b>МУЛТИБАНКА</b> № корсчета 632797
2. <b>ОНЭКСИМ БАНК</b> , Москва, Россия. Код банка 044583367, № корсчета 003161868	ИНН 7708001269 <b>МУЛТИБАНКА</b> № корсчета 008632663
3. <b>АКБ ИНКОМБАНК</b> , Москва, Россия Код банка 044541502, № счета 502161000	ИНН 7728033646 <b>МУЛТИБАНКА</b> № корсчета 311632412

В графе платежного поручения “Для зачисления на счет” впишите № расчетного счета журнала в банке-получателе:

**46700428.**

2. В адрес редакции пришлите письмо с точным указанием вашего адреса и срока подписки.

**В Риге журнал можно приобрести в редакции:**  
**Баласта дамбис, 3. к.1021, тел. 465996;**  
**Дом “Русская книга”, ул. Калпака, 10;**  
**магазин “Jānis Roze”, ул. Кр. Барона, 5;**  
**в киосках.**

Адрес редакции: Баласта дамбис, 3. Рига, LV-1081, Латвия. Тел. 465996.  
 Подписано к печати 20.09.97. Рег. уд. N0502.  
 Формат 60x84/16. 11,60+0,2 уч.-изд. л.  
 Цена для абонентов 0,60 Ls, в розницу – договорная.  
 Отпечатано с оригинал-макета в А/О “Рота”. Дзирнаву, 57. Рига, LV-1050, Латвия.



Маша Айнбингер. Цветы. 1996. А., 48 x 38.

075

